

Российская Академия Наук
Институт философии

Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская

ТРИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Москва
2000

ББК 15.5
УДК 300.3
Н-73

Рецензенты:

доктор филос. наук *А.С.Панарин*
доктор филос. наук *В.Ф.Пустарнаков*
доктор филос. наук *А.И.Уткин*

Н-73 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Три модели развития России. — М., 2000. — 272 с.

В книге анализируются три модели социально исторического развития России, представленные в русской общественной мысли середины XIX начала XX века и нашедшие полную или частичную реализацию в ее социальной практике. В соответствии с принципом модальности авторами избраны в качестве предмета анализа и реинтерпретации в свете современного знания (*самодержавие* как модель, вполне реализовавшая себя в истории, что позволяет определить ее конструктивные основания, динамику и пределы развития; *утопическая* модель «русского социализма», к которой упорно обращалась русская общественная мысль в поисках путей исторического развития России и *модель русского либерализма* как вероятная, но не реализовавшая себя, историческая альтернатива, остающаяся открытой и по сию пору.

ISBN 5-201-02031-3

© Л.И.Новикова, 2000
© И.Н.Сиземская, 2000
© ИФ РАН, 2000

ВВЕДЕНИЕ

История уходит в прошлое... Но она и остается с нами, в нас. Она сохраняется в преимуществах государственных структур и традиций, в исторической памяти народа, в русской общественной мысли. Иногда она возвращается к нам в виде памяти о славных своих страницах, ностальгических воспоминаниях «о былом и несбывшемся» или, напротив, в виде кровавых кошмаров эйзенштейновских бесноватых оргий Ивана Грозного, бессудной расправы над семьей последнего российского царя, в абсурдистски «стройной» бериевской системе ГУЛАГа... Как бы то ни было — это наша история, и нам от нее никуда не уйти. Более того, память о ней нам необходима и как память о былом величии, и как предупреждение против творимого ею (нами!) зла. Только в связи времен живо государство, жив народ, жива нация. В случае забвения прошлого это будут другое государство и другой народ, или их просто не будет. И не случайно сегодня в период, казалось бы, тотального обновления наши реформаторы все чаще прибегают к отработанным в прошлом, но «хорошо забытым» социальным технологиям: получила распространение и пропаганда старых идеологических схем, трафаретов и лозунгов вроде «русской идеи», «Собора русского народа», столыпинской «Великой России», «Евразии», сталинской «Советской власти», сознательно умалчивающая их подлинное содержание.

А между тем в арсенале русской государственной истории и истории общественной мысли остается масса прогрессивных идей и социальных технологий, реализованных или не реализованных по тем или иным причинам в свое время, но сохраняющих свой познавательный, конструктивный потенциал. Все это побуждает нас вновь

и вновь обращаться к истории и, в частности, к *истории русской общественной мысли*, в поисках пути конструирования социальной реальности.

Мы исходим из того, что наряду с традиционным историческим подходом в изучении исторического наследия не менее продуктивным является социально-философский подход, ориентированный на выявление логики развития социально-исторической реальности, на определение роли в этом процессе социальных технологий и идеологий. В этом контексте русская общественная мысль всегда была направлена на реконструирование или радикальное преобразование действительности и поэтому, как правило, наряду с идейно-критическим пафосом имела, бесспорно, и практический смысл. Означенные доводы и определили наш предмет исследования.

В качестве метода исследования нами принят *метод моделирования*. Обращение к последнему требует некоторых пояснений.

Прежде всего, мы имеем в виду моделирование в той его форме, в какой оно адаптировано гуманитарным познанием¹. При этом мы различаем первичные *проективные модели*, направленные на преобразование социальной реальности, и вторичные *гносеологические модели*, ориентированные, в частности, на познание первичных, проективных моделей в их соотношении с исторической реальностью.

Метод моделирования, каким он сложился в 50—70-х годах в настоящее время следует дополнить теорией *социального конструирования реальности*, как она представлена в последних трудах П.Бергера и Т.Лукмана. Мы принимаем в качестве методологического принципа исходный тезис авторов, что реальность *социально конструируется* и что поэтому «социология знания имеет дело с анализом *социального конструирования реальности*»². Заметим, однако, что идея конструирования социальной реальности действующими в ней индивидами в определенном отноше-

нии не нова для русской социально-философской мысли. От Николая Сорского до Ивана Ильина проходит мысль об «умном делании» социальной реальности. Но в отличие от американских ученых, делающих упор на «повседневном знании» как конструктивном моменте «жизненного мира», в русской общественной мысли акцент делается на «умном», т.е. идеологически осмысленном, «делании» социального мира.

Обращаясь к социальному моделированию как методу познания, необходимо учитывать сложность социальных систем. Каждая из них, развиваясь в одном историческом времени, наследует и рекультивирует ценности и социальные технологии предшествующих эпох, даже отрицаемые ею. И, в свою очередь, каждая эпоха, даже не помышляя о том, определяет параметры и делает «заготовки» для последующего развития, далеко не всегда оптимальные и даже приемлемые для него, которые поэтому приходится ломать или откладывать «в запасники истории». В этой связи напомним замечание В.В.Налимова, что не следует рассчитывать на полную изоморфность познавательных моделей, скорее они являются «эскизным описанием диффузных (сложных, больших) систем». В больших системах, к каковым, бесспорно, следует отнести социальные и идеологические системы, нельзя установить непроницаемые перегородки, разграничивающие действие различных переменных обстоятельств. Здесь «необходимо учитывать действие очень многих разнородных факторов, задающих различные по своей природе, но тесно взаимодействующие друг с другом, процессы»³.

И, наконец, еще не маловажный момент: избрав в качестве предмета исследования модели социально-исторического развития в русской общественной мысли, мы вынуждены придерживаться как бы двойной логики — логики источников и логики современного социально-философского знания. Это значит, что выделенные нами познавательные

модели остаются открытыми и для последующих поисков и реинтерпретаций, тем более, что каждый новый подход не только *открывает* что-то ранее неизвестное в исследуемой им реальности, но и сам *вносит* в нее нечто свое, новое. При этом строя модель прошлого, современный человек на ее основе воссоздает «исправленный» проект настоящего и кроме того (на него всегда оказывает влияние «эхо будущего»).

Любое обращение к истории предполагает определенные временные границы. В частности, наше исследование мы ограничили второй половиной XIX началом XX века, потому что в это время русская общественная мысль сама поднялась до проективного моделирования. Но главное, в означенный период *завершился определенный цикл* русской истории, что позволяет реконструировать отобранные модели *с учетом знания их конца*. Это обстоятельство было принято за основу при отборе моделей развития России в качестве предмета исследования. Наконец, нами был учтен и принцип их репрезентативности с точки зрения модальности. Соответствующими этим принципам нам представились следующие три модели развития России, в той или иной мере «пережитые» страной и выявившие свои исторические возможности и реальные альтернативы:

— *модель русского самодержавия* как вполне *реализовавшаяся* в социальной действительности, что позволяет определить ее конструктивные основания, динамику и пределы развития;

— *модель социалистической утопии*, к которой упорно обращалась русская общественная мысль в поисках социальной справедливости;

— *модель русского либерализма* как вероятная, но не реализовавшая себя *историческая альтернатива*.

Обращаясь к практике моделирования в русской общественной мысли, мы сознавали, что предлагаемые модели имеют обобщающе познавательный характер,

поэтому, с одной стороны, стремились как можно полнее представить исходные «проективные модели» русской общественной мысли, с другой (логически обосновать выстроенные нами модели, определить их сферу влияния на современную социально-философскую мысль и общественную практику.

В отличие от первичных проективных моделей, рассчитанных на внедрение в практику, выделенные нами модели имеют *познавательный* характер. Отметим, что создание вторичных, познавательных моделей социальной реальности требует не только тщательного «прочтения» текстов прошлого и их интерпретации в свете исторической реальности того времени, но и определенного *упрощения*, в частности путем определения параметров, по которым явно или имплицитно будет осуществляться и построение вторичных аналитически познавательных моделей.

В реконструкции означенных моделей развития мы исходили из следующих параметров:

- исторические, в том числе геополитические, предпосылки утверждения того или иного социального типа или упреждающих его конкурирующих моделей;
- государственный политический строй и его правовое основание, наличие альтернативных вариантов;
- социально-экономический строй, гражданское общество, их правовые гарантии;
- международный статус государства и сфера его геополитических интересов;
- обслуживающие или упреждающие их идеологии и сопутствующая им символическая культура;
- внешний и внутренний культурный и идеологический фон, оказывающий влияние на рекультурацию господствующей модели развития;
- и наконец, *обыденное сознание повседневности*, которое, подобно основанию айсберга, творит свою работу скрыто от глаз.

Данные параметры, повторяем, приняты нами во внимание при построении предложенных моделей развития России в контексте их исторического развития и в их отношении к современности. Еще раз согласимся с Бергером и Лукманом в том, что «знание об обществе является /.../ реализацией в двойном смысле слова — в смысле понимания объективированной социальной реальности и в смысле непрерывного созидания этой реальности»⁴.

Введение и заключение — *Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская*;

I раздел — *Л.И.Новикова*;

II раздел — *И.Н.Сиземская*

III раздел — *Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская*

I. САМОДЕРЖАВИЕ КАК МОДЕЛЬ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Исходные понятия моделирования самодержавия

Разработку социально-исторических моделей развития России естественно начинать с *МОНАРХИИ*. Самодержавие для России — это не только идеология или проективная модель, но историческая реальность, просуществовавшая (если исчислять ее с момента официального провозглашения монархии Иваном IV в 1547 г. и до отречения от престола последнего императора Всероссийского — 370 лет.

При построении модели самодержавия необходимо учитывать как конструктивные промежуточные модели, направленные на его самоопределение, совершенствование и легитимацию, так и обобщающе-теоретические, возникающие в переломные моменты ее развития, но, как правило, постфактум, когда система находится в состоянии предфинального кризиса или уже ушла в небытие. Для нас первостепенное значение представляют конструктивные модели. При этом мы учитывали как невербализованные, но четко заявленные в политике направления, так и вербализованные идеологические программы, рассчитанные на конструктивное воздействие на уже существующую социально-политическую систему. Свое начало они берут от поучений Иосифа Волоцкого, посланий старца Филофея и доходят до публицистических статей М.Н.Каткова, писем К.П.Победоносцева, записок С.Ю.Витте и проч. Наконец, существуют и обобщенно-теоретические модели самодержавия. К числу наиболее проработанных

моделей такого рода следует отнести исследования Льва Тихомирова и Ивана Ильина. В своих построениях они широко используют труды коллег и предшественников — юристов и историков, в том числе труды А.Д.Градовского, Н.М.Коркунова, С.М.Соловьева, Б.Н.Чичерина и др. Однако при этом необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, и Тихомиров, и Ильин были убежденными монархистами, что, несмотря на их стремление к объективности, определяло отбор материала и его концептуальное построение. Во-вторых, Тихомиров не знал и не предвидел конца самодержавия, а Ильин хотя и пережил, вопреки своим прогнозам, конец самодержавия, все еще не утратил надежд на его возможное возрождение. Отсюда теоретический оптимизм их построений. Задача, поставленная в настоящем исследовании, построение социально-философской модели российского самодержавия с опорой на его реальную историю, что позволяет выявить стадии и пределы его развития. При этом, естественно, автор опирался на обозначенные выше модели трех уровней социально-исторического развития России, а также на альтернативные модели ее вероятностного развития путем сличения и тех и других с исторической реальностью.

Для начала примем наименее идеологизированные правовые определения самодержавия классиков русской социально-правовой мысли Б.Н.Чичерина, Н.М.Коркунова, А.Д.Градовского. Для русской социально-правовой традиции характерно разграничение понятий *верховой власти* (Souverain) и *правительства*, или *управительной власти* (Gouvernement). Верховная власть — *едина, постоянна, непрерывна, державна, священна, нерушима, безответственна, территориально везде присутствующая*⁵. Она есть *источник всякой государственной власти*. Правительство же в связи с необходимостью специализации предполагает разделение властей. Совокупность принадлежащих верховной власти прав есть *полновластие*, как внутрен-

нее, так и внешнее. Юридически она ничем не ограничена. Она не подчиняется ничьему суду, ибо если бы был высший судья, то ему бы и принадлежала верховная власть. Она — верховный судья всякого права... В наибольшей мере этим атрибутам верховной власти *соответствует именно монархия*. Отсюда вытекает и само определение монархии. Согласно Чичерину, «Чистая монархия есть образ правления, в котором верховная власть принадлежит одному монарху /.../. По самому существу этого правления монарх держит власть независимо от кого бы то ни было, не как уполномоченный, а по собственному праву. Поэтому он называется *самодержцем* /.../. Имея верховную власть, независимую от какой-либо человеческой воли, монарх тем самым считается получившим ее свыше, по божественному изволению. Это дает власти религиозное освящение, что выражается в титуле словами: «Божией милостью»⁶. Заметим здесь, что если для Чичерина божественное предопределение монархической власти есть условной прием, на котором он практически не останавливается, то для Тихомирова и Ильина оно является безусловным основанием легитимности самодержавия, связывающим монарха с единоверными подданными.

Другой юрист, Н.М.Коркунов, уточняет определение самодержавия, исходя из закона. Государственное устройство Российской империи, пишет он, определяется двумя статьями Основных законов: 1 и 47. Ст. 1 характеризует свойства власти, принадлежащей монарху. «Император Российский есть монарх *самодержавный и неограниченный*. — Повиноваться *верховой* Его власти не только за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает». Тут указаны три свойства самодержавной власти, разъясняет маститый ученый: «верховность, самодержавие, неограниченность». Обозначение власти монарха как верховной показывает, что ему принадлежит высшая *безответственная власть* в государстве. *Самодержавие и*

неограниченность утверждают, что вся полнота власти сосредоточена в руках монарха. К этому следовало бы прибавить и четвертый аргумент, который ученый-либерал обошел своим вниманием. Мы имеем в виду основание легитимности власти монарха, которая зиждется в *воле Бога*. Это дополнение весьма существенно для понимания базисных идеологических основ русского самодержавия. И мы увидим далее как русские самодержцы в самые трудные периоды истории государства Российского, когда уже никакие иные доводы не действовали, обращались к этому аргументу.

Но вернемся к тексту закона, обозначенного Коркуновым: «Ст. 47 указывает, что осуществление самодержавной власти русского царя совершается на началах *законности*. Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных законов, учреждений и уставов, от Самодержавной Власти исходящих». Ученый так разъясняет соответствующую статью закона: «...самодержавием существующее у нас государственное устройство отличается от *монархии ограниченной, законностью* — от *деспотии*, где место закона заступает ничем не сдерживаемый личный произвол правителя»⁷ (выделено мною. — Л.Н.). Однако по поводу данного определения можно возразить. Во-первых, самодержавие российского государственного устройства сложилось далеко не сразу, оно берет свое начало отчасти от Ивана III и набирает силу при Иване IV. Но именно при нем оно приобретает явные черты деспотизма, который в большей или меньшей степени сопутствует ему на всем его протяжении. А во-вторых, после отмены крепостного права, с образованием земств и борьбой за конституционализм, принцип *неограниченной самодержавности* был поставлен под сомнение. И именно упорное непонимание этого критического момента привело Российскую империю к неминуемой гибели.

Поставив перед собой задачу сконструировать социально-философскую модель *РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ*, обозначим параметры, по которым она будет строиться. Самодержавие есть политическая система, поэтому, естественно, нами должен быть выделен *политический параметр* и отслежено его историческое конструирование, или *делание*. При этом мы должны исходить из того, что «существует процесс *самовоспроизводства* власти, имеющий свою логику, свои замыслы» (выделено мною. — Л.Н.)⁸.

В отличие от республиканских форм правления, в известной мере обособленных от гражданского общества, самодержавие тесно увязано с социально-экономическим строем, что определяет сложность выделения собственно *социального параметра*. И хотя самодержавие исторически возникло при рабовладельческом строе, наиболее адекватным ему является *сословный строй*. По определению А.Д. Градовского, «под именем *сословий* разумеются отдельные группы подданных, между которыми сам закон установил наследственные преимущественные различия в правах и обязанностях. Следовательно, сословия по самой своей природе являются учреждением *государственным*»⁹. Этим они отличаются от каст и от классов. Таким образом, считает ученый, сословия, во-первых, непосредственно связаны с государством, обслуживают его. А во-вторых, сословия дифференцированы по своим функциям, которые наследственно закреплены за ними и иерархизированы по отношению друг к другу и государству. Эту иерархическую пирамиду венчает самодержец. На поверхности эта система вуалируется патримониальными отношениями. Отсюда наиболее распространенными в просторечье наименованиями царя являются «*Отец*», «*Батюшка*» и т.п.

Монархический строй имеет геополитическое и этническое основание. Так, по мнению Тихомирова и Ильина, опирающихся на теорию Руссо, республиканс-

кая форма правления легко утверждается в малых государствах с высокой плотностью и однородным этническим или культурным составом населения. В отличие от этого для государств, раскинувшихся на обширных неравномерно заселенных территориях, где наряду с господствующим этносом, а зачастую и вперемешку с ним, сосуществуют народы, принадлежащие к иным этническим корням и к иным религиозно-культурным типам, что, в частности, характерно для России, наиболее адекватной является монархическая власть. Мысль о влиянии окружающей среды на социально-политический строй общества не лишена основания, хотя в трудах названных авторов она и трактуется весьма тенденциозно. Она нашла отражение и развитие в енвиронталистском направлении социальной философии. В русской исторической и социально-философской мысли его развивали историки С.М.Соловьев, П.Н.Милюков, позже — евразийцы, в частности Г.В.Вернадский. Милюков в «Очерках по истории русской культуры» в специальной главе отмечает, что месторазвитие русской культуры объединяет по крайней мере три-четыре самостоятельные и законченные культуры разного характера, не говоря о культурах незавершенных. «Эти культуры предполагают столько же различных месторазвитий. *Соединить их в одно целое можно было лишь в порядке государственного слияния*» (выделено мною. — Л.Н.)¹⁰. Отсюда этатизм, свойственный русской общественной мысли. Он становится одним из сильнейших аргументов идеологов и активных деятелей имперского самодержавия, сторонников «Великой России». Евразийцы усугубили эти идеи. В отличие от Милюкова, идущего от прошлого к настоящему, евразийцы современное состояние России — Евразии рассматривают как интенцию и цель ее исторического развития. «История распространения русского государства есть в значительной степени история приспособления русского народа к своему месторазви-

тию — Евразии, а также и приспособления всего пространства Евразии к хозяйственно-историческим нуждам русского народа»¹¹. При этом необходимо учитывать, что взаимодействие социума с географической средой может иметь как позитивный, так и негативный характер. Об этом писал уже Б.Н. Чичерин. Отмечая роль широких географических пространств в образовании больших государств, он предупреждал: «Большие государства образуются и долго держатся силой сосредоточенной власти, которая одна в состоянии охранять их от распада. Народ может гордиться своим единством, силой и могуществом, но он должен знать, что все это дается ему в ущерб свободе»¹².

Не ограниченное законом самодержавие должно иметь сильное *идеологическое обоснование* и его *ритуально-символическое* выражение, что предполагает необходимость выделения их как самостоятельных параметров построения социально-философской модели самодержавия. Между мессианской идеей Московского царства («Москва — третий Рим») и идеей самодержавия князей и царей московских прослеживается вполне определенный параллелизм. Как подчеркивают многие исследователи, их начало совпадает и по времени, и по причине. Они переносятся на Русь одновременно и из одного источника — Византии, где сложилась целостная доктрина божественного происхождения царской власти. Так еще в IV веке один из самых почитаемых отцов церкви — Григорий Назианзин (Богослов) убеждал верующих, и императоров и их подданных, что «Господь сам управлял небесными делами, поделил управление земными делами с монархами, а потому они призваны быть богами своих подданных»¹³. Русские книжники, безусловно, знали эти тексты. Православная церковь в лице своих иерархов и византизм как тип государственности внесли солидный вклад в разработку и утверждение идеологии самодержавия. Именно через них восторжествовала монархическая идея, как сугубо православная, сплотившая

патриотов всей Русской земли. Позже К.Н.Леонтьев, ярый поборник византизма, так характеризовал эту *одну из главных составляющих русского самодержавия*. Общая идея византизма, писал он, слагается из нескольких частных идей — религиозных, государственных, нравственных, философских, художественных. «Византизм в государстве значит самодержавие. В религии он значит христианство с особыми чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем /.../, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идеи всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного все-совершенства и вседовольства»¹⁴.

При решении поставленной задачи мы придерживались логики исторического развития российского самодержавия, что позволяет выявить *его истоки, точки роста и наивысшего подъема, симптомы кризисов и основания перелома, приведшего к его неизбежному концу*, а также определить *роль промежуточных конструктивных моделей как реабилитации самодержавия, так и его радикальной реконструкции и замены альтернативными моделями государственного устройства*.

Глава 1. Московское царство и формирование образа «самодержца Всея Руси»

1.1. Исторические предпосылки и идеологическое конструирование модели самодержавия

Утверждение самодержавия в России обусловлено глубокими историческими предпосылками, которые влекли страну по этому пути, и одновременно активностью политической воли *его делания* и идеологического обоснования.

Самодержавие Московских великих князей, превратившихся в самодержцев Всея Руси, а затем Российской империи, началось на развалинах Киевской Руси. Блестящая история Киевской Руси, прославленная именами св. Владимира, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, закончилась в XII веке вследствие ряда внутренних и внешних причин. Киевская Русь фактически распалась на три самостоятельных региона: юго-западный, объединяющим началом которого все еще служило родовое право княжеской династии Рюриковичей; северо-западная Русь с Великим Новгородом во главе, куда переместился центр международной торговли, и, наконец, северо-восточная Русь с затерявшимся среди лесов и болот Ростово-Суздальским княжеством, на окраине которого едва появилось село боярина Кучки — Москва. И к «хитростям истории», выражаясь языком Гегеля, следует отнести, что дальнейшее развитие славянской государственности, превращение ее в великую державу, возглавляемую монархом, началось в этом, казалось бы, забытом Богом и людьми медвежьем углу. И хотя первый самостоятельный правитель Ростово-Суздальского княжества Юрий Долгорукий еще принимает участие в борьбе за великокняжеский стол в Киеве, его политические и, главное, экономические пристрастия оказались привязанны-

ми к Ростово-Суздальской земле. Здесь он проявил себя как хороший хозяин и устроитель своих земель. Он строит города, монастыри и привлекает на пустующие земли переселенцев. В результате уже к концу XII века Ростово-Суздальская земля оказалась самым плотно населенным районом России и ее князья самыми могущественными из всех русских князей того времени. Этому способствовал переход к новым формам земледелия, в частности пойменному сельскому хозяйству. Развитие на его основе огородничества и животноводства, вовлекало горожан в сельское хозяйство, требовало большей межсезонной занятости населения и обеспечивало более разнообразный и калорийный его прокорм. Именно в этом регионе получило развитие трехполье¹⁵.

Здесь на новых землях берет начало и *новый тип* социальных отношений. Так в Киевской Руси князья приходили на территории уже занятые и хозяйственно освоенные местным населением и вместе с властью получали право лишь на «кормление» за свою службу, в случае же ее неисправности могли быть изгнаны местным населением. В Ростово-Суздальском княжестве население и служилые люди селились на землях князя, который был единоличным собственником этих земель. Постепенно право собственности и распоряжения распространялось и на субъектов хозяйственной деятельности, которые, хотя и в различном статусе, становились зависимыми людьми, слугами князя-вотчинника, сохраняя при этом, однако, право «отхода» от него. *Князь выступал здесь как хозяин и распорядитель хозяйственной деятельностью и как глава политических сношений, и как верховный судья.* К.Д.Кавелин отмечает основополагающее значение этого события: «Исторический тип, который лег в основание этого нового государственного тела, есть тип *des Guts — und Hausherrn*» (нем. — хозяин имения, дома) /.../. Он развивался неудержимо и совершенно выработался в мельчайших подробностях в XVII веке»¹⁶. Мнение на этот

счет русских ученых — историков и юристов, более или менее однозначно. «В лице князя, — пишет историк С.Ф.Платонов, — произошло соединение двух категорий прав на землю: прав политического владельца и прав частного собственника /.../ Князь не только носитель верховной власти в стране, он ее наследственный владелец, «вотчинник». Аналогичное по существу определение социально-экономическому базису зарождающейся российской монархии дает и современный английский исследователь Р.Пайпс, обозначая его как вотчинный, или *patrimonium*'-альный строй¹⁷.

Исторические предпосылки нарождающегося монархического строя Л.А.Тихомиров, с опорой на С.М.Соловьева, ведет от деятельности Андрея Боголюбского, которому приписывает вполне осознанную установку на *единодержавие*, этим же объясняет он и трагический конец князя. В то время как в Киеве продолжалась усобица, Андрей укреплялся в своем Суздале. Будучи избран на киевский стол, он начал сознательную ломку родового права: взял Киев «на щит». Оставаясь номинально великим князем киевским, Андрей передал его в удел своему младшему брату, а сам вернулся на север, во Владимир. «Этот поступок Андрея, — утверждает С.М.Соловьев, — был событием величайшей важности, событием *поворотным*, от которого история принимала новый ход, с которого начинался на Руси новый порядок вещей»¹⁸. В результате Киев из стольного превратился в удельный город. Стольным городом в обход старших городов и выражающего их интересы боярства становится самовольно провозглашенный Андреем Боголюбским столицей Ростово-Суздальского княжества Владимир. С Андрея, по мнению Соловьева, «впервые высказывается возможность перехода родовых отношений к государственным»¹⁹.

Но общество еще не созрело до этой идеи и упорно сопротивлялось ее реализации. Андрей, опережая свое время, лишь опробовал некоторые *технологии самодер-*

жавной власти, которые затем будут развиты его преемниками. Но между ним и самодержавной властью русских царей лежит длительный и мучительно трудный период татаро-монгольского ига и под его покровом кровавой борьбы удельных княжеств за титул и статус великого князя Русской земли. В этой полной драматизма борьбе победила Москва. Именно здесь осуществляется переход от вотчинных отношений к *самодержавию*.

В научной и околонучной литературе до сих пор дискутируется вопрос о роли «татаро-монгольского ига» на формирование типа российской государственности и, в частности, монархической идеи. Как отмечает В.О.Ключевский, татарское нашествие надолго, на весь XIII век повергло народное хозяйство Северной Руси в страшный хаос. Но с XIV века расстроены отношения начали налаживаться. Московские князья, Иван Калита одним из первых, поняли, что с татарами выгоднее орудовать «смирной мудростью», нежели оружием, и весьма преуспели в этом, сделав хана орудием своих великокняжеских замыслов²⁰. Как отмечает летопись, с тех пор, как московский князь получил от хана ярлык на великокняжеский стол, Северная Русь начала отдыхать от постоянных татарских набегов. «В эти спокойные годы, — пишет Ключевский, — успели народиться и вырасти целых два поколения, к нервам которых впечатления детства не привили безотчетного ужаса отцов и дедов перед татаринном: они и вышли на Куликово поле»²¹.

И хотя нельзя отрицать татаро-монгольского влияния на формирование отдельных сторон образования русской государственности и культуры, но в целом оно имело *двойственный* характер. С одной стороны, оно способствовало формированию единого месторазвития русских княжеств и тем самым объединению Руси, с другой — вассальная зависимость от сильного, деспотически непредсказуемого завоевателя формировала во властных структурах русских княжеств и в сознании на-

рода хитрость, коварство, страх. Что касается заимствования у татар самодержавной идеи, то в данном вопросе нельзя не согласиться с Тихомировым, отмечавшим, что это не реально, хотя бы потому, что сами татары не имели подобной власти у себя. Ханская власть носила родовой характер и была чревата теми же пороками, что и власть княжеского рода Рюриковичей на Русь. Одним из аргументов против преувеличения конструктивного влияния Золотой Орды на формирование самодержавия в России может служить сам факт, что она *просмотрела возвышение Москвы* как политического центра объединения Руси и как силы, способной положить конец татаро-монгольской зависимости. Альтернативой этому было превращение Руси в один из окраинных улусов монгольской империи, т.е. ее *политическое небытие*.

На почве борьбы с татарами усилилось влияние православной церкви, а также византийской идеи самодержавности, согласно которой князь, позднее царь является помазанником Божиим и заступником русской земли. Не будем забывать, что влияние византийской идеи — религиозной и государственной — было сильно и в Киевский период развития русской истории, но там сама христианизация носила преимущественно миссионерский со стороны Византии характер. В Московский период отношения Руси с Византией в корне изменились. Поставляемые Константинополем на Русь митрополиты, силой исторических обстоятельств и целенаправленной деятельности московских князей, перенесли свою кафедру сначала из Киева во Владимир, а затем в Москву²². При их поддержке, в частности святителей Петра и Алексия, Москва становится стольным городом, политическим и религиозным центром всей Русской земли.

Динамизм этому процессу придал Иван III целенаправленной политикой объединения русских земель, их включения в состав Великого княжества Московского. Но свою первейшую политическую задачу Иван видел в

полном разрешении вассальных отношений с Золотой Ордой. «Стояние на Угре», когда обе армии, не вступая в бой, разошлись, продемонстрировало равенство воинских сил и явное моральное превосходство русского национального духа. Начиная с этой поры Московское княжество превращается в Русское государство — Всея Русь. Своей женитьбой на принцессе Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора, Иван становится как бы легитимным восприемником всех регалий императоров византийских. Но, приняв герб Византийской империи, Иван III воздерживается от принятия титула, желая сохранить свою независимость.

Большую роль в идеологическом конструировании образа *самодержца* сыграло православие. Его основоположником можно считать настоятеля Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого, ставшего идейным лидером официальной линии в православии. Нуждаясь в поддержке великого князя в борьбе с ересью жидовствующих (вид протестантизма), он разработал и проповедовал доктрину божественной сущности великокняжеской власти. В своем основном сочинении, «Просветитель», Иосиф обращается к царям: «Слышите цари и князи и разумеите, яко от Бога дана бысть держава вам, яко *слуги Божию есте...*». Паству же он учит, что царя надо почитать и слушаться, ибо «*Царь убо естеством подобен есть всем человекам, властию же подобен вышнему Богу*»²³. В этой интерпретации, как подчеркивает академик М. Дьяконов, царь несет ответственность за формы утверждения порядка в стране и отношение к вере *только перед Богом*²⁴.

Другим важнейшим источником религиозной легитимации самодержавия стал цикл текстов, завершившихся известной идеологемой «Москва — третий Рим», которую обычно связывают с именем старца Филофея. Она явилась весьма своевременным ответом на резко изменившуюся политическую ситуацию — падение Визан-

тии, приведшее к определенной «бездомности» православия. В своих посланиях великому князю Московскому Филофей выразил ее в соответствии с господствовавшим в то время миропониманием и духовными запросами общества. Он писал царю: «Храни и внимай благочестивый царь тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что *два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать*» (выделено мною. — Л.Н.)²⁵. Эта формулировка и стала классическим выражением идеологемы «Москва — третий Рим». Ее своевременность и уместность привели к тому, что она была принята на вооружение и способствовала *идеологическому* укреплению великокняжеской власти, ее перерастанию в царскую власть, идеологически подготавливала этот процесс. Она «так верно воспроизводила общий смысл эпохи, так точно угадывала настроение современников Филофея, что скоро была усвоена даже правительственными сферами и вошла в государственные акты», — отмечает исследователь проблемы И.Кириллов²⁶.

Короче, религиозная легитимация самодержавия великокняжеской, позже царской власти стала своеобразным «категорическим императивом». Подтверждением тому может служить открытая полемика Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Грозный обвиняет своего вчерашнего сподвижника с его друзьями в измене, в посягательствах на авторитет царской власти, в частности на попытки ограничить самодержавие «советом ближних бояр», которых, по словам Курбского, «самому царю достойно любить и слушаться как своих руководителей». Напротив того, Грозный убежден, что всякая власть от Бога, даже если она приобретена насильем (значит, того восхотел Бог), и следовательно, всякой власти покоряться должно. Свою власть Грозный считает *вдвойне законной* — по *Божьему изволению и праву рождения*. С гордостью он воспроизводит свою генеалогию, берущую начало от святого Владимира и Александра Невско-

го, как основание легитимности своей власти». На защищаемую Курбским идею ограничения царской власти советом ближних бояр Грозный отвечает ссылкой на историческую традицию: «Русские же самодержцы изначально сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!»²⁷. К этой мысли он возвращается неоднократно и настаивает на таком понимании самодержавия, когда царь *сам строит свое* государство, имея не номинальную, а реальную власть. Подданные же должны безоговорочно повиноваться своему повелителю. При этом он отмечает обвинения в жестокости, которые ему предъявляли Курбский и другие современники, а позднее и потомки, так как жестокость, как деяние несправедливое, имеет смысл там, где обозначены пределы власти, самодержавие же, в понимании Грозного, в принципе отрицает их. Поэтому судить поступки самодержца дано *ему самому да Богу*, перед которым он даст ответ на последнем суде. Таким образом, религиозная легитимация является одним из важнейших аргументов самодержавия, без нее оно просто немислимо. Огромную роль она сыграла в ранний период формирования государственности, когда церковь служила едва ли не единственной идеологической силой, обладая к тому же хорошо разработанными технологиями. Но и сами великие князья и цари Московские потрудились на этом поприще не мало.

1.2. Смута и формирование идеи Государства

Важнейшим механизмом легитимации самодержавной власти является *наследственный принцип ее передачи*. Утверждение его прошло путь долгий и трудный. Он пришел, как мы отмечали, на смену родовому «лествичному» праву. Затем в северо-восточной Руси он уступил место удельному обычаю, когда умирающий князь делил свое княжество-вотчину между всеми сыновьями, выде-

ляя им города-уделы, которые в свою очередь дробились при следующем завещании. К тому же система наследования осложнялась и тем, что столы и удельные княжества зачастую не наследовались, а *добывались*. Правда, уже московские князья стремились преодолеть этот обычай, завещая по духовной старшему из сыновей большую и лучшую долю и оговаривая удельное владение младших послушанием «во всем» старшему брату. В результате такой сознательно «конструктивной» политики духовные грамоты (завещания) утратили свое значение уже при Иване III. Обычай закрепил самодержавное начало с первородством. Но только Павел I придал этому обычаю законодательный характер.

Смерть Грозного царя и замена его слабоумным наследником при сильном, но безродном управителе Борисе Годунове несомненно подрывала, пользуясь языком Ильина, монархическое правосознание подданных. Со смертью же царя Федора прерывалась и династическая линия рюриковичей. «Хорошо организованные» выборы²⁸ на Земском соборе царя Бориса и утверждение в качестве наследника его сына — царевича Федора, казалось бы, сняли напряженность ситуации. Однако стоило появиться лишь тени «законного» царевича Димитрия, как недовольство обойденных Годуновым родовитых бояр и подданных, «раскрученного» ими народа, у которого всегда есть основания для недовольства, вылилось в Смуту.

Понятие Смуты, пожалуй, явление чисто русское. Это и не революция, и не борьба партий, и даже не мятеж. Это — *СМУТА*, когда все всем недовольны и нет положительной идеи, которая устроила бы всех или большинство вовлеченных в Смуту действующих лиц. Это — состояние всеобщего хаоса, которому не видно положительного конца. Смутное время сделало, казалось, все возможное для подрыва самодержавия, которое не сумело ни предотвратить, ни усмирить ее, а потом было омрачено позорною узурпацией бродяги-самозванца и на-

шествием поляков. С расшатанностью царской власти вновь подняла голову родовая аристократия, положив браться с царей «записи», ограничивающие их власть в свою пользу. Народ же «безмолвствовал», пока Смута не перелестнула через край.

Найти управу на нее в порядке сословной иерархии брались, по словам С.Ф.Платонова, разные сословия московского общества, а «победа досталась слабейшему из них». Боярство, сильное правительственным опытом и кичащееся своим богатством, пало от неосторожного союза с иноверным врагом. Служилый землевладельческий класс, сильный воинской организацией, потерпел неожиданное поражение от домашнего врага — казачества, в союзе с которым мыслил свергнуть иноземное иго. И лишь посадские люди Нижнего Новгорода, Ярославля и других городов, сильные только горьким политическим опытом круговой «измены» и «воровства», собрав ополчение во главе с Дмитрием Пожарским и гениальным человеком из посада — Кузьмою Мининым, дали отпор врагам внешним и внутренним. Широкая и ясная программа ополчения позволила ему освободить Москву, сохранив за собой значение общеземского правительства до выборов «всей землей» нового царя. «С появлением этой власти Смута нашла свой конец, и новому московскому царю оставалась лишь борьба с ее последствиями и с последними вспышками острого общественного брожения»²⁹.

Казалось бы, Смута могла иметь только негативные последствия. Тем более знаменательно, что русская историческая мысль сумела увидеть в ней многозначительное явление. Так, завершая свое большое исследование, Платонов пишет: «Смута смела все /.../ аристократические пережитки и выдвинула вперед простого дворянина и «лучшего» посадского человека. Они стали действительной силою в обществе на место разбитого боярства». Их усилиями была создана новая форма власти — Земс-

кий собор. «Царь и Земский собор составляли единое и вполне согласное правительство, главную заботой которого было поддержать и укрепить восстановленный государственный порядок»³⁰.

С.М.Соловьев отмечает, что Смута, охватившая все слои общества, с одной стороны, разрушала старые устои, обладавшие в результате своей «вращенности» во все ткани социального организма огромной консервативной силой. С другой стороны, это был период бурного исторического творчества, когда формировались новые социальные отношения и появлялись новые люди, способные придать им соответствующую политическую форму и права гражданства. Сплочение сил народных спасло государство от гибели. Большинство людей, истомленных Смутой, хотело, чтобы *все было по-старому*, замечает историк. Однако старина была восстановлена лишь по видимости. «Новое с новыми людьми просочилось всюду, а старое со старыми людьми, носителями старых преданий, спешило дать место новому»³¹.

Идея *рождения порядка из хаоса* была подхвачена и развита В.О.Ключевским. В русской Смуте историк увидел зарождение новых конструктивных идей, которые и стали движущей силой последующего исторического процесса. «Прежде всего, из потрясения, пережитого в Смутное время, люди Московского государства вынесли обильный запас новых политических понятий, с которыми не были знакомы их отцы, люди XVI века». К их числу относится понятие *государства*, его достоинство. «Прежде государство мыслилось в народном сознании только при наличности государя, воплощалось в его лице и поглощалось им. В Смуту, когда временами не было государя, или не знали, кто он, неразделимые прежде понятия стали разделяться сами собою. *Московское государство* — эти слова в актах Смутного времени являются для всех понятным выражением, чем-то не мыслимым только, но и действительно существующим даже без государя»³². На этой почве *утратила значение идея восточного права и рождалась политическая идея государства*.

Многие историки отмечают великий парадокс итогов смутного времени для русского государства. Оно вышло из Смуты с великими территориальными потерями: открытый с таким трудом выход к балтийскому морю был снова заблокирован; Польша не рассталась со своими претензиями на Московский престол; на дорогах бесчинствовали шайки грабителей, которые легко сливались с восставшим из-за бескормицы людом; казна была пуста; крестьяне, кто мог, обратились в бега; многие пашни оставались не обработанными; система «управительной» власти, центральной и на местах, погрязла в «воровстве» или распалась. И тем не менее держава мужала и набирала международный авторитет.

В огромной мере этому способствовали *Земские соборы*. По понятиям того времени Земские соборы отражали мнение всей Русской земли. Впервые Земский собор был созван в 1550 г. еще Иваном Грозным, решившим на двадцатом году своей жизни окончательно избавиться от боярской опеки. Собор проходил на Красной площади, так что *всякий* мог признавать себя его участником. Царь каялся перед народом в своих грехах и тут же угрожал боярам, «неправедный суд творящим». Обращаясь к народу, царь обещал взять правление в свои руки и править по справедливости, призывая в свидетели и споспешники Господа Бога.

Созванный на следующий год Стоглавый собор носил уже более деловой и конструктивный характер. На нем было запрещено местничество, когда должности в войсках и в правительстве занимали не по заслугам, а «по породе», решено начать всеобщую перепись земли, пересмотреть соотношение между пожалованными поместьями и служебными повинностями с них и проч. Здесь же были канонизированы почитаемые местные святые как общенациональные, что способствовало идейной централизации русской земли, уточнены в соответствии с традицией некоторые исповедальные формы церков-

ной службы, розвившиеся в различных местностях, в частности двоеперстие, «сугубое» (двойное) аллилуйя, крестное хождение «посолонь» (по солнцу) и др. Решения собора по различным государственным и церковным вопросам были записаны в ста главах — отсюда и его название «Стоглавый». Но главное в другом. *Было положено начало демократической по своей сути традиции если не общенародного, то всесословного обсуждения государственных дел.*

Эта традиция была востребована в период Смуты и в первые годы царствования Романовых, когда авторитет царской власти либо вовсе отсутствовал, либо был весьма незначительным. Но если в период Смуты земские соборы носили характер «по случаю», то в период царствования первых Романовых они приняли почти регулярный и весьма деловой характер. Так в период царствования Михаила Романова было создано семь соборов, на которых обсуждался и был принят целый ряд весьма «непопулярных» урядов о дополнительном обложении налогами ввиду крайнего истощения хозяйства и государственной казны, о переписи земель с целью упорядочения обложения населения налогами. На соборах обсуждались вопросы войны и мира, выборы патриарха и проч. Решения, принятые соборами, вряд ли были под силу отдельному государю той поры. Таким образом, сознание общей пользы и взаимной зависимости приводило власть и ее земский совет к полнейшей солидарности, обращало государство и собор в одну политическую силу.

Соборы продолжались и при Алексее Михайловиче, но по мере укрепления самодержавной власти последнее пошли на убыль. Собором было подтверждено вступление на престол самого царя, хотя он имел уже законное наследственное право. Собором 1648 г. было принято новое *Уложение свода законов*, в котором наряду с кодификацией старых были прописаны новые законы, укрепляющие прерогативы царской власти и одновременно

ограничивающие произвол окружающей царя правящей клики, в том числе и духовной. «Уложение», принятое собором 1648 г., просуществовало как действующее законодательство до 1833 года, когда его сменил Свод законов Российской империи, подготовленный М.М.Сперанским. Земскому собору 1653 г., постановившему принять Малороссию по ее просьбе в состав «Всея Руси», суждено было стать последним. Укрепившаяся царская власть не нуждалась более в достаточно громоздком и отнюдь «не ручном» политическом институте. Земские соборы сделали свое дело и усилившаяся самодержавная власть не замедлила избавиться от их влияния.

1.3. Церковный раскол и неизбежность перемен

Глубокий удар по идеологическому звену русского самодержавия — православию (нанес церковный раскол XVII века. Внешним поводом раскола послужило исправление церковных книг на основе сличения их с греческими первоисточниками. Процедура, начатая до Никона и шедшая ни шатко, ни валко, пока последний не придал ей принципиально-догматическое и политическое значение. До того подобная процедура была спокойно проведена в Киеве Петром Могилой, который, кстати, предлагал московским властям свои услуги.

Возглавив реформу, Никон не ограничился исправлением ошибок, допущенных переписчиками церковных книг на основе сличения их с древними образцами. Практически, как замечает один из ведущих специалистов в этой области, Н.Ф.Каптерев, исправление церковных книг происходило преимущественно по *современным* греческим книгам, что сразу и почувствовали сторонники старой веры. Но Никон не останавливается и на этом. Он переносит на Русь греческий церковный обряд, греческие церковные напевы, принимает греческих живопис-

цев, начинает строить монастыри по греческому образцу. Всюду он выдвигает на первый план греческий авторитет, отдавая ему значительное преимущество перед вековой русской стариной, перед русскими, всеми признаваемыми авторитетами. На соборе 1656 г. Никон демонстративно заявляет: «Я русский, сын русского, но мои убеждения и моя вера — греческие». «Это публичное торжественное отречение верховного архипастыря русской церкви от русских верований и убеждений в пользу иностранных — греческих, это торжественное признание себя Никоном по духу истым греком, необходимо должно было произвести крайне неприятное и тяжелое впечатление на всех тех русских, которые не думали и не желали отказываться от своего, русского в пользу греческого, в чем, конечно, и нужды никакой не было и для Никона», заключает Каптерев³³.

Таким образом, раскол отнюдь не ограничивался решением частных проблем — придерживаться двуперстия или троеперстия, произносить Иисус или Иисус, ходить крестному ходу «посолонь» или против солнца, — которые к тому же ранее уже были одобрены в их «старообрядческом» варианте Стоглавым собором, а об одном, но весьма существенном вопросе: «Чем определяется религиозная истина: решениями ли власти церковной или верностью народа древнему благочестию?». Старообрядцы, искренне веровавшие, что божественная благодать перешла на Москву, которая стала третьим Римом, считали недопустимым обращение к погрязшим в грехе греческим новинам. На стороне старообрядцев сосредоточилась основная масса глубоко верующего люда. На стороне реформы Никона стояли, с одной стороны, люди более образованные или вообще равнодушные, более приверженные к доводам власти, чем веры. «Болезненный и обильный последствиями разрыв между интеллигенцией и народом, — замечает по этому поводу П.Н.Миллюков, — за который славянофилы упрекали Петра, со-

вершился полувеком раньше. Этот разрыв произошел в сфере гораздо более деликатной, нежели та, которую непосредственно задевала петровская реформа. Религиозный протест, конечно, удесятерил свои силы, соединившись с протестом политическим и социальным, но это нисколько не изменяет того основного факта, что первой и главной причиной разрыва были вопросы совести. Русскому человеку в середине XVII в. пришлось проклинать то, во что столетием раньше его учили свято верить. Для только что пробужденной совести переход был слишком резок»³⁴.

И все же своя правда, помимо чисто формального исправления накопившихся ошибок и необходимости приведения церковной службы к единообразию, была и у сторонников реформы, в том числе у Никона и у поддержавшего его царя. Если старообрядцы стремились обособиться в своем «древнем благочестии», то сторонники реформы видели ее смысл в превращении «московского» православия во вселенскую религию, дающую основание для диалога с иными вероисповеданиями. Тем самым реформа открывала путь вхождения Московской Руси в христианское религиозное сообщество. Вместе с тем в своем противоборстве обе стороны ошибались и обе понесли существенные потери. Русская православная церковь, всегда бывшая оплотом самодержавия, «раскололась»: старообрядцы, или раскольники, которые считали только себя истинными верующими, дошли до полной бесцерковности с признанием только «невидимой церкви»; с другой стороны, от официальной церкви, которую воспринял патриарх Никон, чтобы навести в ней порядок, отпала, по выражению историка Н.И.Костомарова, половина Великой Руси, наиболее крепкая в вере, за церковью пошли немногие переросшие старую веру или вовсе равнодушные к религии. В более позднюю эпоху это создавало благоприятную почву для вольнодумства и поисков «новой религиозности» в форме масонства.

Но наряду с церковной реформой Никон подспудно преследовал и другую цель: возвышения церковной власти, ее полной самостоятельности по отношению к царской. Это давний спор церкви с властью. Но только такой сильный церковный лидер, каким был Никон, мог отважиться на организацию ее достижения, пользуясь «собинной» дружбой с царем. Пользуясь недостаточно окрепшим авторитетом царской власти, а также поддержкой высших церковных иерархов, Никон попытался сначала явочным порядком, а потом и через собор утвердить превосходство духовной власти по отношению к царской. Так в предисловии к новому служебнику утверждалось, что Бог даровал России «два великие дара» — царя и патриарха, которыми все строится, как в церкви, так и в государстве. Ввиду этого все православные русские должны «восхвалити и прославити Бога, яко избра в начальство и в снабдение людем своим сию *премудрую двоицу*: великого государя царя Алексея Михайловича и великого государя святейшего Никона патриарха». В этом предисловии бросается в глаза уравнивание титулов обоих представителей власти — светской и духовной, как равных во всем «*великих государей*». В полемике со своими оппонентами Никон доходит до утверждения превосходства священнической власти перед царской, ибо престол первой есть «на небеси», вторая же властвует на земле и приемлет власть свою «от помазания от священнических рук»³⁵.

Такого не мог стерпеть ни один самодержец, даже «тишайший» царь Алексей. И в этом его безоговорочно поддержали высшие представители формирующейся светской власти, а также земское духовенство, сильно пострадавшее от реформы Никона. Почувствовав неудачу своего замысла, Никон летом 1658 г. демонстративно сложил с себя патриарший сан, и церковь до 1666 г. оставалась без патриарха. Его функции поневоле выполнял богомольный царь, *что приучало видеть в нем не только самодержавного государя, но и главу православной цер-*

кви. Церковный собор в присутствии вселенских патриархов после долгих и трудных дебатов осудил Никона, который кончил свою жизнь в заключении в Кирилло-Белозерском монастыре.

Церковный спор, неразрешимый на узконациональной почве, произошел перед появлением Петра Великого и тем самым, по приговору Вл. Соловьева, подготавливал почву и заранее оправдывал его преобразования, в том числе церковные. Действительно, «Упразднение патриаршества и установление синода было делом не только необходимым в данную минуту, но и положительно полезным для будущего России, — пишет мыслитель. — Оно было необходимо, потому что наш иерархический абсолютизм (имеется в виду абсолютизм церковной иерархии. — Л.Н.) обнаружил вполне ясно свою несостоятельность и в борьбе с раскольниками, и в жалком противодействии преобразовательному движению: патриаршество, после раскола лишенное внутренних основ крепости и оставшееся при одних чрезмерных притязаниях, неизбежно должно было уступить место *другому* учреждению, более сообразному с истинным положением дела...»³⁶. Действительно, бездействующее несколько лет патриаршество Петр заменил в 1700 г. правительствующим Синодом, т.е. светским учреждением, призванным регулировать внешние конфессиональные дела, просуществовавшем вплоть до 1917 года. В результате церковной реформы Петра российское государство становится *светским государством*. Православие выпадает из его основополагающих основ, оно выполняет сугубо функциональную роль, строго прописанную ему духовным Регламентом. В связи с этим необходима была новая конструктивная идея самодержавия и государства.

Глава 2. Конструирование модели Российской империи

2.1. Модернизация государства Петром Великим

Мы не зря употребили современный термин «*модернизация*», подчеркивая тем самым, что эволюционного пути усовершенствования тех или иных институтов у Петра просто не было. Другой путь означал путь царевича Алексея, но и он уже был закрыт церковным расколом. Необходима была решительная коренная перестройка социально-экономических политико-управленческих, культурных и религиозных отношений и институтов, то есть модернизация их в соответствии с уровнем интеллектуального развития века. И Петр в целом выполнил эту задачу. Как отмечает современный исследователь Н.И.Павленко, Петр резко интенсифицировал происходящие в стране процессы, заставил ее совершить гигантский прыжок из прошлого в будущее, пользуясь не всегда дозволенными методами. Но даже сугубо деспотические методы, к каким прибегал Петр в целях просвещения своих подданных, оказывались исторически оправданными интересами России, служили фактором прогресса³⁷.

При всем разнообразии дел и свершений Петра их связывает единая, целеустремленная идея, которой он не изменял никогда — это идея *великого Государства*, чуть позже — *Российской империи*. Петр всецело уверовал в спасительную силу абсолютистского государства и, по образному выражению Б.И.Сыромятникова, «всею своею железной рукою налег на рычаги заведенной им государственной машины, установленной в стране великих возможностей»³⁸. Реализации этой идеи он подчинил все силы нации, требуя неукоснительного служения ей всех, от рядового дворянина, купца, церковного

служки до самого царя («На троне вечный был работник»). Основанием этой пирамиды оставался труд крепостного крестьянина, который одновременно был основной тягловой единицей и поставщиком «солдатчины». Таким образом, модернизация Петра превратила самодержавное государство в чудовищного Левиафана, требующего постоянного служения ему и жертвоприношений. Так, расшатав православие как краеугольный камень своей легитимности, самодержавие обрело новое, более мощное ее основание в идее *государственности*. В итоге мы с полным основанием можем характеризовать тип самодержавия, сложившийся в результате модернизации Петра, как *сословно-этактистское самодержавие*. В общем-то, эта идеология вполне соответствовала духу XVII века, духу Лейбница, Пуфендорфа, Гуго Гроция, идеи которых хорошо были известны «Ученой дружине» Петра. Феофан Прокопович широко использовал их в обосновании самодержавной власти Петра в своем главном труде «Правда воли монаршей», этой, по определению Ключевского, краткой энциклопедии государственного права петровской эпохи. Торопиться с реализацией этой идеи Петра побуждали как внутренние причины — продолжающаяся смута после церковного раскола, культурная отсталость общества, так и внешние — рыхлая, великая, но необустроенная Россия представлялась весьма соблазнительной приманкой для шведской и польской корон³⁹.

«Серьезные реформаторы, — пишет в своем исследовании А.И.Уткин, — глядя прямо в лицо реальности, если им не изменяло мужество, должны были признать, что наиболее нужным элементом перемен является культурная реориентация, то есть воспитание своего народа самодостаточными гражданами, а не согласными на любую долю спартаксами»⁴⁰. Это понял Петр. Но парадоксальным образом он соединил просвещение верхнего слоя общества — дворянства (со «спартанской дисциплиной» всего народа.

Модернизация государства была начата Петром с просвещения. Он не побоялся поставить своих приближенных и себя самого в роль любознательных учеников. «Великому посольству», снаряженному в Европу, последняя открылась, по выражения Ключевского, «в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами», /.../ «обилием книг, газет»⁴¹. Сравнение, по возвращению домой, было неутешительным. То, что раньше не бросалось в глаза, открылось воочию: регулярной армии по существу не было, вместо нее было несколько плохо экипированных и плохо обученных солдатских полков, стрельцы, да дворянская конница как бы из прошлого века. Школ мало и те церковно-приходские. Университета нет. Ученых нет. Врачей нет. Аптека одна (царская) на всю страну. Газет нет. Купцы и ремесленники задавлены произволом воевод. Культурный уровень даже высшего сословия общества ограничивается «Домостроем». И Петр понял, что в случае сохранения такого уровня развития России грозит участь превратиться в «сферу чужих интересов» или быть раздробленной на куски Польшей, Швецией, Турцией...

Вернувшись из-за границы, Петр сразу же приступил к реформам. Может показаться капризом деспота-самодура, что начал он с указа о бритье бороды и ношения европейского платья. Но в этой экстравагантной мере тоже был свой смысл: она означала радикальную смену стиля поведения и мышления. И Боярская дума, и ближайшее окружение царя, и приказные люди вынуждены были действовать соответственно своему новому облику. Поражение, нанесенное ему в 1699 г. шведским королем Карлом XII, заставило Петра обратиться к радикальной модернизации армии. Позже на Азовском и Балтийском морях был заложен военный флот. В разгар Северной войны, при первой победе над шведами, Петр велит закладывать в устье Невы новый город-крепость Петербург, желая тем самым утвердиться на море

и войти в Европу. Как позднее напишет А.С.Пушкин, «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек».

Но в оправдание великого реформатора повторим аргументы К.Д.Кавелина, что размах и революционная глубина осуществленных Петром реформ сделали развитие страны по «общечеловеческому пути» *необратимым*. Не случайно и Вл.Соловьев, сравнивая значение деятельности Петра Великого с христианизацией Руси св. Владимиром, характеризовал обоих как исторических деятелей, которые, на много опережая потребности общественного развития страны, *делали историю*⁴².

Естественно, что Петр *делал историю* и в тех условиях *мог ее делать* только как *самодержец*. В воинском артикуле, включенном в свод законов Государства Российского, записано: «Его Величество есть самовластный Монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен; но силу и власть имеет свои от Государства и земли, яко христианский Государь по своей воле и благомнению управлять»⁴³. Примечательно, что в Артикуле религиозное обоснование самодержавства заменено властью, которую самодержец имеет *от Государства и земли*. Однако модернизация самодержавия на основе тотальной зависимости всех сословий от государства действительно была доведена Петром *до предела*. Дальше по этому пути самодержавие не могло развиваться.

Петр Великий умер в 1725 г. в муках и славе. В числе самых жгучих мук были, пожалуй, разногласия с сыном, закончившиеся трагедией. Отталкиваясь от этого случая, Петр практически разрушил сложившуюся систему наследственной преемственности власти. Он объявил, что монарх в праве сам выбирать себе преемника, который бы продолжал его дело. Однако юридически завершить свои идеи не успел. Это привело к тому, что после его смерти Россия столкнулась с длительным кризисом самодержавия, заполненным заговорами, предательством,

убийствами. И только Павел, сам пострадавший на этом, издал закон, предусматривающий все условия престолонаследия по нисходящей мужской линии.

Слава же Петра вызывала и продолжает вызывать разночтения: кто же он был — самодержец-тиран или великий реформатор, выведший страну «из небытия в бытие»? Ответу на этот вопрос посвящено исследование — опыт аналитической антологии — А.А.Кара-Мурзы и Л.В.Полякова. Споры вокруг этого вопроса, возникшие сразу же после смерти Петра, продолжают и по сей день. «Действительно, Петр Великий — вечная загадка и вечный магнит для отечественной мысли. Разброс мнений по поводу личности Петра великого — огромен, феноменален; полярные оценки деяний Петра встречаешь в истории русской мысли на каждом шагу: «спас Россию — предал Россию», «Христос — Антихрист»; «Бог ведет — бес ломает», «великий — бездарный», «мудрый государь — самовластный помещик», «храбрец — трус...». Но не довольно ли с нас крайностей? — ставят риторический вопрос разработчики проблемы. — Давно пора Руси остепениться, найти тот средний путь, которым идут цивилизованные народы». И заключают, сохраняя, впрочем, проблематичный тон: «Так, может, Великий Петр и есть наш водитель на этом пути, воплощение искомого синтеза, «единства противоположностей?». Ведь нашел же это *единство* противоположностей в образе Петра Пушкин: «...Лик его ужасен. Движения быстры. Он прекрасен»⁴⁴.

И все же проблематичность вопроса остается. Особенно остро ее почувствовал В.О.Ключевский. «Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозю власти вызвать самодеятельность в поработанном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в Россию европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие

деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная»⁴⁵. Но, несмотря на это, идея *государственности* была воспринята наиболее дальновидными потомками Петра. Она послужила скрепой при монархической чехарде XVIII века. Эта идея выполняет свою конструктивную роль и в настоящее время.

2.2. Дворцовые перевороты и образование дворянской монархии

Петр не успел завершить своих начинаний, у него не осталось достойных наследников. Период, последовавший после его смерти, называют веком императриц, более склонных к увеселениям, чем к многотрудной государственной деятельности. Но корабль российской государственности, спущенный им со стапелей, оказался настолько прочным, что продолжал плыть намеченным Шкипером курсом, несмотря на неопытность или небрежение рулевых, ибо обратный путь был только в *небытие*.

Как уже отмечалось, Петр не оставил закона о престолонаследии. Это породило цепь государственных переворотов, сопряженных с насилием, что подрывало ресурса и престиж самодержавия. Уже царствование Екатерины I со всей остротой поставило *династический вопрос*, в борьбу за решение которого включились все аристократические круги, лично заинтересованные в разделе сфер влияния. После смерти Екатерины I и ранней смерти ее преемника династическая проблема усугубилась и приняла неожиданный оборот. Члены учрежденного еще при Екатерине Верховного тайного совета, или «верховники», которых представляли самые именитые представители русской аристократии, решили, что пришло их время *ограничить самодержавие*, что в случае ус-

пеха означало бы введение «конституционно — аристократической монархии». Инициатором этой идеи был европейски образованный кн. Д.М.Голицын. Наиболее подходящей кандидатурой для реализации задуманной цели «верховникам» представлялась Анна Иоанновна — дочь брата Петра Ивана, рано овдовевшая и прозябавшая в забвении. Участникам заговора представлялось, что она-то уж подпишет любые условия лишь бы вернуться к блеску петербургской жизни. Анна действительно подписала составленные «верховниками» «кондиции», оставляющие ей властные полномочия лишь при дворе и передающие всю полноту государственной власти в руки Верховного тайного совета. Однако тайные «кондиции» «верховников» раньше времени стали известны «шляхетству», то есть служилому дворянству, выпестованному Петром. Оно-то и решило исход событий, предпочитая иметь дело с одним неограниченным монархом, от которого можно ждать милостей, нежели с аристократическим Верховным советом, весьма презрительно относившимся к шляхетству. Под давлением угодного императрице «общественного мнения» шляхетства Анна спокойно порвала подписанные ею «кондиции». «Так кончилась десятидневная конституционно-аристократическая русская монархия XVIII в., сооруженная 4-недельным временным правлением Верховного тайного совета», заключает В.О.Ключевский⁴⁶. Взойдя на трон, Анна Иоанновна вынуждена была пойти на известные уступки шляхетству: она выполнила основное требование дворянства, сократив срок обязательной службы до 25 лет. Ею был открыт шляхетский кадетский корпус, поступление в который обеспечивало недорослям привилегированного сословия весьма приемлемую карьеру. Но главное (Анна прибегла к широкой раздаче крестьян в крепость помещикам. Со времени царствования Анны Иоанновны русские самодержцы поняли, что *опорой самодержавия является дворянское сословие*. Поэтому «с 25 фев-

раля 1730 г. (день восшествия Анны на престол при поддержке дворянства), — как пишет Ключевский, — каждое царствование было сделкою с дворянством, и если сделка казалась нарушенной, нарушившая сторона подвергалась преследованию противной и ссылкой или заговором и покушениями»⁴⁷.

Однако очень скоро монархам Всея Руси придется осознать еще одну истину: просвещение рождает не терпящий самовластья дух свободы, который не могут удовлетворить никакие сословные привилегии.

Очередной государственный переворот 25 ноября 1741 г. завершился возведением на трон дочери Петра — Елизаветы. Кстати, она была четвертой, возведенной на престол с помощью гвардейских штыков. Переворот был встречен бурными патриотическими манифестациями, сопровождавшимися погромами «немецких» дворов, спровоцированными длительным засильем иностранцев в предшествующее царствование, получившим нарицательное наименование «бироновщина». Именно в это время получило широкое хождение новое понятие — *«россияне»*, запущенное в обиход Феофаном Прокоповичем.

Свое восшествие на престол Елизавета отметила отменой смертной казни. В основном же, с интересующей нас точки зрения, 20-летнее царствование Елизаветы Петровны можно охарактеризовать как полное единодушие императрицы и ее подданных в лице привилегированного сословия — дворянства. Не случайно Ключевский характеризует период правления Елизаветы как «начало *дворяновластия*»⁴⁸. Так же как и царствование Анны Иоанновны, правление Елизаветы характеризует фаворитизм, изменился только круг лиц, в чем-то солидарных, но конкурирующих друг с другом за полноту влияния на податливую императрицу. При этом «немецкую партию» заменила «французская партия». Дух французского Просвещения с его внешним изяществом и блеском находит поддержку при дворе и проникает в «рус-

ское общество». И.И.Шувалов переписывался с Вольтером. А.П.Сумароков пишет трагедии в духе Расина и Корнеля. Растрелли-сын украшает Петербург постройками в духе французского барокко. В духе времени происходит смягчение нравов и просвещение. В 1755 г. в Москве был открыт задуманный еще Петром университет; положено основание Академии Художеств; основан постоянный публичный театр в Петербурге, открыта первая гимназия для детей дворян и разночинцев в Казани.

Елизавета, впрочем, так же как и Анна, продолжает внешнюю политику Петра Великого, направленную на расширение границ *Российской империи*. По свидетельству известного историка конца XIX века А.А.Кизеветтера, накануне воцарения Петра территория России составляла 256126 кв. миль, после смерти Петра — 275571 кв. мили. При Анне она расширилась до 290802 кв. миль, при Елизавете пространство Российской империи достигало 294497 кв. миль⁴⁹.

В последние годы жизни перед Елизаветой, как и перед Анной, встал вопрос о наследнике престола. Выбор оказался не очень удачным. В качестве наследника был признан и призван внук Петра и племянник Елизаветы, родившийся и воспитанный в Голштинии, ценивший свое звание герцога Голштинского выше короны Российской империи. Имея в виду продолжение династии, Елизавета озаботилась женить его на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе, принявшей в православии имя Екатерины Алексеевны. Что касается Петра III, то его раболепное преклонение перед Фридрихом II и всем немецким стилем жизни, после не забытой еще бироновщины, вызывало возмущение русских дворян-патриотов. Екатерина — чистокровная немка — казалась более русской, чем родной внук Петра. Однако с правлением этого, по выражению Ключевского, «случайного гостя на русском престоле» связано одно событие, решительно изменившее направление развития

русского самодержавия. Мы имеем в виду его «Манифест о вольности дворянской» 18 февраля 1762 г. Манифест совершенно *освобождал дворян от государственной службы*, что шло вразрез с сословной политикой Петра I. Служба государю и Отечеству становилась частным делом дворянина, делом его чести или карьеры.

Социальные последствия этого Манифеста трудно переоценить. Во-первых, в России появилось *первое вольное сословие*, которое было вправе распоряжаться своей судьбой. По-видимому, монарх хотел «облагодетельствовать» дворянство и тем самым привязать его к себе. Но освобожденное от крепости дворянство считало иначе. Часть его требовательно ждало новых подачек. Вместе с тем среди дворянства выделилась наиболее просвещенная прослойка — зародыш будущей интеллигенции. Воодушевленная западными идеями просвещения, она выступила в открытой оппозиции к самодержавной власти. Роль и значение этой прослойки, пополнившей ряды русской интеллигенции — будет расти. Во-вторых, место служилого дворянства в коридорах власти заняла *бюрократия*. В результате открывался путь *бюрократизации самого самодержавия*. В-третьих, и это, пожалуй, самое важное: освобождение дворян от обязательной службы государю или государству лишало крепостное право по отношению к крестьянам *морального оправдания*. Логике этого исторического процесса задним числом четко обозначил Б.Н.Чичерин: московские цари, строя самодержавное государство, во имя его централизации лишили свободы все сословия. Все должны были нести государю тягло. Прежде всего «были укреплены» бояре и служилые люди, затем — посадские, наконец — крестьяне. Таким образом, согласно Чичерину, «закрепощение одних влекло за собой закрепощение других». Но когда государство окрепло и отпала надобность пользоваться принудительным трудом, начался обратный процесс: сначала были освобождены дворяне, затем городские

сословия и, наконец, крестьяне⁵⁰. Так поняли манифест и крестьяне, ожидая вольности для себя. Вся дальнейшая история развития русского самодержавия будет вращаться вокруг этой проблемы, ища выходы в наскоро сколоченных конструкциях, в вынужденном обращении к реформам, ибо, оставляя нерешенным этот вопрос, самодержавие обрекало себя на гибель.

2.3. Модель просвещенной монархии

Екатерина была шестой императрицей, пришедшей к власти на штыках гвардейцев. О ее легитимности нельзя всерьез говорить не только потому, что она участвовала в заговоре против законного самодержца — своего мужа, но и потому, что уже был законный наследник (ее собственный сын Павел. В лучшем случае она могла претендовать на регентство при малолетнем сыне. Коронация Екатерины с обязательным обрядом помазания была прямым кощунством, на которое спокойно пошла церковь. И тем не менее приходится констатировать, что Екатерина II оказалась самой *русской* и, пожалуй, самой самодержавной после Петра I императрицей. Она проводила последовательно русскую политику, направленную на укрепление мощи и международного престижа Российской империи. Окруженная фаворитами, основные решения по внутренней и внешней политике она всегда принимала сама, выслушав советы своих любимцев, она побуждала их к действиям в заданном ею направлении.

Одна из первых проблем, вставших перед ней, было отношение к Манифесту о вольности дворянской Петра III. Манифест был с удовлетворением воспринят дворянством; Екатерина не могла выглядеть хуже в его глазах. Вместе с тем освобождение дворян от обязательной воинской или гражданской службы лишало законного и нравственного основания закрепощение крестьян.

ян за помещиками. Своей Жалованной грамотой дворянству (1785) Екатерина II попыталась снять это противоречие, придав ему правовое основание. Хорошо усвоив уроки Монтескье, который придавал особое значение аристократии как *опоре монархического строя*, Екатерина, пользуясь своим неограниченным правом, «даровала» дворянскому сословию ряд дополнительных привилегий. Во-первых, поместья приравнивались к вотчинам и в равной мере становились *собственностью помещика* (отсюда это новое название — помещик). Во-вторых, дворянство приобретало корпоративно потомственный статус. Лишить дворянина его звания, состояния и привилегий возможно было только по суду, решение которого должно быть подтверждено государем. Все это породило новое самосознание дворянства как привилегированного сословия, в котором цари теперь видели «*опору трона*».

В контексте нашего исследования царствование Екатерины особый интерес представляет еще и потому, что она сама попыталась сформулировать принципы *просвещенного самодержавия* в своем «Наказе», написанном для собранной ею Уложенной комиссии. Екатерина откровенно признавалась в том, что свой «Наказ» писала под сильным влиянием идей Монтескье. Однако из этого совсем не следует, что он представляет собой простое переложение идей французского мыслителя. Выписывая отдельные положения из Монтескье и др. европейских просветителей, Екатерина подвергала их тексты своеобразной обработке, итогом которой стало обоснование политической доктрины о возможности соединения самодержавия с законностью, свободой и правопорядком. По сути дела «Наказ»⁵¹ представляет собой изложение широкой программы «просвещенного самодержавия», приспособленной к российским условиям самодержавия. Законодательная инициатива императрицы охватывала все сферы общественной жизни, начиная с общих соображений о государственном устройстве и кончая проблемами воспитания.

Прежде всего, Екатерина исходит из утверждения, что «Россия есть Европейская держава» (6). В подтверждение тому она ссылается на авторитет Петра Великого, который, введя европейские нравы и обычаи в российскую среду, нашел такие преимущества, каких и сам не ожидал. Это, по мысли императрицы, свидетельствует о том, что народ русский, восприимчивый к европейской культуре, к ней и принадлежит. Усвоив от Петра I имперскую идею, Екатерина II развивает ее в «Наказе» и всемерно реализует в своей внешней политике. Прекрасно понимая, какую опасность для престола представляет бездействующая армия, она стремилась задействовать ее в любой военной операции, развязанной в Европе, и всегда на благо России.

Исходя из геополитического положения России, Екатерина приходит к утверждению, что единственной государственной формой пригодной для России является *просвещенное самодержавие*. «Российского государства владения простираются на 32 степени широты и на 165 степеней долготы по земному шару». Такому государству соответствует самодержавный государь, «ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно с пространством толь великого государства». «Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно» (8, 9, 11). В духе идей просвещенного абсолютизма императрица заверяет подданных, что такая власть отнюдь не имеет в виду лишить их вольностей, напротив, она направлена к улучшению благосостояния народа, ибо опирается на закон.

Основным, полагает автор «Наказа», является приоритет закона перед властью, в том числе властью монарха, хотя последнему в самодержавном государстве принадлежит исключительное право законотворчества. Но коль скоро закон принят, нарушать его не позволительно никому. В духе либерально-просветительских идей Екатерина в различных вариантах повторяет мысль, что

законы издаются во имя блага государства и каждой личности и ни в коей мере не должны стеснять ее свободы, если только последняя не идет в ущерб государству в целом. «Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу» (41). Для незыблемого сохранения законов надобно, чтобы они были настолько совершенны, чтобы порождали у каждого гражданина уверенность, что они направлены на его благо.

В духе просвещенного элитизма решает Екатерина и вопрос о вольности граждан: «В государстве, то есть в собрании людей обществом живущих, где есть закон, вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть и чтоб не быть принуждену делать то, чего хотеть не должно» (37). Государство является гарантом вольности гражданина, его уверенности в своей безопасности. Этим определяется приоритет государства по отношению к вольности отдельного гражданина. Но для того, чтобы граждане были законопослушны, надлежит при формулировании законов учитывать уровень «народного умствования». Поэтому, с одной стороны, следует издавать законы в удобопонимаемой форме, а с другой — необходимо «приуготовить» умы людские к введению и пониманию наилучших законов (58). Так либеральные установки здесь, как, впрочем, и других местах «Наказа», сочетаются с общими идеями просвещения.

Касаясь экономической сферы, Екатерина положила в ее основу главный принцип либерализма: «не запрещать и не принуждать». Единственное, что может позволить себе правитель в этой сфере, — это «премия и разъяснение». Главной сферой экономического благосостояния страны Екатерина не без основания считает земледелие. «Земледелие есть первый и главный труд, к которому поощрять людей должно» (313). В развитии этой темы императрица вступает в явное противоречие с

российской реальностью: «Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного. Сие основано на правиле весьма простом: «Всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит; и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет» (295, 296). Этот общий принцип откровенно повисает в воздухе, ибо состояние крепостного труда крестьянина, не имеющего собственности и работающего на чужой земле из-под палки, противоречит «Наказу». На словах в «Наказе» Екатерина выступала как сторонница постепенного освобождения крестьян. На деле же при ней увеличилось раздачи вольных и крестьян помещикам. Усилился и общий гнет.

К концу XVIII века, не без усилий Екатерины II, Россия по своему могуществу догнала Европу и начала диктовать ей свои правила игры. Это положение было поколеблено Пугачевским бунтом и Французской революцией, определившими поворот властей к реакции. Однако либеральные идеи, запущенные императрицей в общественный обиход, не прошли бесследно. Начало развитию либерально-демократических идей положил Н.И.Новиков, осмелившийся в своих журналах полемизировать с императрицей, в том числе и по крестьянскому вопросу, за что без суда и следствия был заключен в Шлиссельбургскую крепость. Но это не остановило развитие общественной мысли, породившей целую серию записок, проектов, сочинений либеральной и демократической ориентации, заполнивших интеллектуальное пространство от царствования Екатерины до восстания декабристов включительно⁵².

2.4. Эпилог просвещенного самодержавия

С именем Александра I связан блеск и нищета просвещенного самодержавия. Сын императора-деспота и любимый внук просвещенной бабки-императрицы; ученик радикального республиканца Лагарпа, основатель

кружка молодых реформаторов, передавший бразды правления страной верному сатрапу Аракчееву и тем *предавший* идеалы просвещенной монархии; вольнодумец и мистик — *он вобрал в себя все противоречия уходящего века Просвещения*.

Александр пришел к власти в результате молчаливого согласия на переворот, закончившийся смертью отца. Его никогда не покидало чувство вины за это вольное или невольное(?) участие в убийстве, смешанное со страхом перед «удавкой», которой орудовали «верноподданные». (Всему Петербургу были известны слова м-м де Сталь, что «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой».) Вместе с тем по своему воспитанию и тем ожиданиям, которые связывала с ним просвещенная дворянская молодежь, после 5-летнего непредсказуемого деспотизма Павла, Александр принял имидж просвещенного монарха, не чуждого либеральным идеям. Однако за этим образом скрывался неустойчивый характер, любящая позировать личность. Отсюда зыбкость, двойственность Александра, готового играть красивую роль и страшась ее. Не случайно Пушкин называл его «властителем слабым и лукавым», а Герцен — «коронованным Гамлетом». Действительно, Александр никогда не был самим собой, а всегда тем, кем хотели его видеть. Ходило множество слухов, что он тяготится своим положением императора всероссийского и надеется скоро, совсем скоро покинуть престол и уйти в частную жизнь или монастырь. Но уж слишком многим он поведал эту интимную мечту, чтобы поверить ей. На его время выпало великое событие — Отечественная война, в которой русский народ во главе с М.И.Кутузовым одержал великую победу над Наполеоном, а лавры победы осенили и *его чело* («случайною пригретый славой»). Зато он взял реванш как инициатор и идеолог Священного союза, направленного против революционных движений в Европе. Но если начало его царствования омрачала тень

убитого отца, то его конец был омрачен тайным заговором его вчерашних соратников по Отечественной войне, разочарованных в его политике.

С первых же шагов царствования нового императора вокруг него сплотился кружок «молодых друзей» из высших аристократических кругов, образовавших «Негласный комитет», на котором с участием царя обсуждались самые смелые проекты социальных и политических реформ. Один из постоянных членов этого комитета Адам Чарторыйский так описывает «заседания» этого Комитета: «Каждый нес туда свои мысли, свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замеченных злоупотреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед нами свои мысли и свои истинные чувства. И хотя эти собрания долгое время представляли собой простое препровождение времени в беседах, не имеющих практических результатов, все же, надо сказать правду, что не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, намеченной или проведенной в России в царствование Александра, которые не зародились бы на этих именно тайных совещаниях»⁵³. Князь явно преувеличивает, беседы, которые велись в «Комитете» ради «препровождения времени», отражали общий дух эпохи Просвещения и велись едва ли не во всех «тайных обществах», которыми тогда был переполнен Петербург. Так или иначе идея конституционализма, *законодательного ограничения самодержавной власти* и на этой основе политического устройства государства занимала определенное место в общественном мнении просвещенных кругов общества. Естественно, что эти сюжеты обсуждались и на заседаниях Негласного комитета.

Впрочем, даже самые скромные начинания Негласного комитета, направленные на усовершенствование системы — замена устаревших коллегий министерствами, утверждение за Сенатом функции высшей судебной

инстанции и, главное, закон о «вольных хлебопашцах», разрешавший крепостным по договоренности с помещиками выкупаться на волю — вызвал страх и сопротивление основной массы помещичьего сословия. Выразителями недовольства рядового дворянства стали поэт Г.Р.Державин, а позже историк Н.М.Карамзин. Державин обвинял молодых друзей царя в том, что они взялись за перестройку, не зная по-настоящему состояния государства, и в том, что от них веет «конституционный французский и польский дух». Под давлением консервативных кругов и, главное, ввиду практической безысходности деятельность Негласного комитета скоро угасла сама собой.

Казалось бы, более перспективные реформаторские начинания связывали Александра с М.М.Сперанским. Сын сельского священника, Сперанский, в силу своих исключительных способностей не остался незамеченным «молодыми друзьями царя». В 1802 г. через В.П.Кочубея он подает императору записку «Размышления о государственном устройстве империи». По-видимому, впечатление, произведенное этой запиской на царя, и личное знакомство привели к тому, что Сперанский принимал участие в работе «Негласного комитета», а с 1807 г. он — статс-секретарь Александра.

Уже в первой своей записке он критически оценивает политическое уложение России, как не соответствующее законам разума, высказывая в связи с этим довольно смелую для своего времени мысль: «Сему иначе и быть невозможно. Во всяком государстве, коего политическое положение определяется единым характером государя, закон никогда не будет иметь силы, народ будет все то, чем власть предрешающая быть ему повелит»⁵⁴. Только монархия, опирающаяся на закон, равно на всех распространяющийся, может гарантировать истинную свободу своим гражданам. Монархия, основанная лишь на своей волеи государя, может дать свободу лишь немногим в ущерб народу. На этом основании он проводит различие

между *самодержавием*, сосредоточивающим всю власть в лице самодержца, не способного, однако, физически осуществить ее и потому окруженного «ласкателями», и опирающейся на закон *«правильной монархией»*.

Среди существовавших в то время политических систем Сперанский выделяет три идеальных типа: республика, к которой тяготеют европейские страны, самодержавие, утвердившееся в России, и *конституционная, или «правильная монархия»*. Республиканская форма правления, как утверждает Сперанский, отнюдь не гарантирует гражданских свобод, ибо к власти приходят не лучшие люди; самодержавие, концентрирующее всю власть в одних руках и не способное ее разумно осуществить, имеет тенденцию переродиться в деспотизм; и только конституционная, или «правильная монархия», основанная на разделении властей и их ответственности не только перед волей монарха, но и перед законом, является оптимальной политической формой, способной обеспечить политические и гражданские права гражданам. Записка «О государственном устройстве империи» имела характер предварительных рассуждений и потому не требовала каких-то решений, что вполне устраивало Александра.

Вторая волна либеральных настроений в царствование Александра I была вызвана глубоким разочарованием всех слоев общества условиями Тильзитского мира (1807), не только унижительного, но и крайне разорительного для страны. И император снова прибегнул к испытанным средствам воздействия на общественное мнение — к играм в либеральные реформы. Как отмечают историки, сам он уже мало верил в них, но тем более охотно раздавал поручения на создание проекта реформ разным людям, от Строганова до Аракчеева. Подобное поручение получил и Сперанский. В 1809 г. им было представлено императору «Введение к Уложению государственных законов», представлявшее собою по существу *проект конституционной монархии в России*.

В этом проекте государственного уложения Сперанским была предпринята первая в истории русской общественной мысли попытка развести понятия *государства* и *гражданского общества, политического и гражданского права*. В общественной жизни духовные и физические (экономические) силы человека могут действовать либо сосредоточенно как единое целое, либо порознь, когда каждый отстаивает свои интересы. В первом случае складывается сильное централизованное государство, подчиняющее себе частные интересы, во втором — превалируют частные интересы, на основе согласования которых складывается гражданское общество. Необходимо ограничение одного другим в целях недопущения их подавления друг другом. «Если бы права державной власти были неограниченны, если бы силы государственные соединены были в державной власти в такой степени, что никаких прав не оставляли бы они подданным, тогда государство было бы в рабстве и правление было бы деспотическое»⁵⁵.

В главе «О разуме государственного уложения» Сперанский подробно обсуждает вопрос о «благовременности» введения «правильного», т.е. конституционного государственного устройства. Отмечая, что в Европе конституции, как правило, вводились под нажимом революционных смут и переворотов и потому носили противоречивый характер, он был уверен, что в России же сами власти могут ввести конституцию, тщательно спланировав ее. Попытки введения конституции в России предпринимались и раньше. Однако и усилия оказались тщетны, потому что они были преждевременны, так как общество было не готово к ним. Наконец, время настало. Его симптомы Сперанский видел в падении общественного уважения к властям, в росте всеобщего неудовольствия, которое находит отражение в неллицеприятной публичной, несмотря на цензуру, критике правительства. В этих условиях невозможны частные исправления систе-

мы. Выход может быть лишь *во введении конституции сверху, волей монарха*. И молодой реформатор начертал развернутый и стройный план такой конституции.

Задача, согласно Сперанскому, состоит в том, «чтобы правление, доселе самодержавное, поставить и учредить на неперменном законе». Поскольку первым и основополагающим политическим принципом либерализма является разделение властей, постольку в его реализации он видел основной смысл своего «Уложения». При этом, учитывая общий настрой императора, Российская империя представлена им как «государство нераздельное, монархическое, управляемое державной властью по законам государственным». Державная власть соединяет в себе законодательную, судебную и исполнительную и приводит их в действие посредством специально для этого установленных институтов, отношения между которыми определены законом. Так законодательная власть в стране закрепляется за Государственной думой, высшую судебную власть осуществляет Сенат, исполнительную власть отправляет Комитет министров. Их объединяет состоящий из высших государственных сановников, назначаемых самим монархом, Государственный совет, который является совещательным органом при императоре, духовно от его лица и по его поручению координирующим всю деятельность властей.

Как известно, план Сперанского конституционного обустройства России остался нереализованным. Только незначительная его часть была использована в усовершенствовании существующей управительной власти. В частности был открыт Государственный совет, на котором под председательством императора проходили предварительную апробацию те или иные проекты законов, были приняты общие принципы работы министерств. И это все. Но независимо от уклончивой позиции, занятой императором по отношению к проекту Сперанского, проект и не мог быть реализован, оставаясь *утопической конструкци-*

ей, во-первых, потому, что он, по выражению Ключевского, как бы начертан на «чистом листе бумаги». А во-вторых, и это главное, он вступал в противоречие с интересами почти всех слоев общества и в первую очередь с интересами самой монархической власти. Действительно, вскоре заигрывания царя с конституцией прекратились и Сперанский был отстранен от дел и сослан. По возвращении из ссылки он уже и сам ввел свои проекты в верноподданническое русло.

Главным оппонентом Сперанского стал первый историограф государства Российского Н.М.Карамзин, написавший в 1811 г. по просьбе сестры императора адресованную ему записку «О древней и новой России», направленную против проектов Сперанского и других либеральных веляний, поддерживаемых самим императором. Карамзин — убежденный сторонник просвещенной монархии, основанной на всей полноте самодержавной власти монарха. Маститый историк исходит из того, что самодержавие есть священный *палладиум* России. Сохранение его в неприкосновенности необходимо для счастья и самого ее существования. Опираясь на исторический опыт России, он утверждает: «Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменой Государственного Устава ее она гнила и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия?» — вопрошает он. И далее, доводя свою мысль до парадокса, предлагает, так сказать, мысленный эксперимент. Если бы Александр, вдохновенный великодушной ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, попытался бы ограничить его, то истинный гражданин российский должен был бы дерзнуть остановить его и сказать: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему пред-

ку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!»⁵⁶.

С этих позиций Карамзин решительно восстает против либеральных начинаний молодых реформаторов, в том числе против реформаторских затей самого императора. Но особенно опасными представлялись ему намерения Сперанского. И хотя его фамилия не упоминается в «Записке», не трудно догадаться, кого Карамзин имеет в виду под *«реформаторами-писарями»*, посягнувшими изменить Россию. Обращаясь непосредственно к только что разосланному «Введению» к «Уложению государственных законов» Сперанского, историк иронизирует: мы ждали два года, вышел целый том предварительной работы. И что же находим? «Множество ученых слов и фраз, почерпнутых в книгах, ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенного гражданского характера России...»⁵⁷. И хотя Александр холодно воспринял «Записку» Карамзина, его собственная позиция в конце царствования приобретает все более охранительный характер.

Итак, XVIII — начало XIX века в русской истории был эпохой наибольшего сближения с западным миром. «Окно в Европу» явилось обобщенным символом русского Просвещения. Царствование Александра I стало его эпилогом, последним всплеском которого явилось восстание декабристов, раздавленное самодержавной властью Николая. И все же при всей своей вторичности по отношению к западным первоисточникам и политическом утопизме русское Просвещение сыграло существенную роль в пробуждении общественного сознания и развитии русской свободной мысли.

Глава 3. Абсолютная монархия. Ее альтернативные варианты

3.1. Конструирование абсолютного самодержавия

Апогей самодержавия, так охарактеризовал царствование Николая I либеральный историк А.Е.Пресняков⁵⁸. Заметим, однако, что Николай вошел в историю под разными именами: К.Н.Леонтьев видел в нем «рыцаря монархической идеи», К.Н.Кавелин — «исчадь мундирного просвещения», в народе его прозвали «Николаем Палкиным». А если говорить о той модели, которую он придал самодержавию за время своего царствования, то наиболее точно ее сумел выразить случайный гость Петербурга маркиз де-Кюстин — *«военно-бюрократическая машина»*.

Николай, казалось, был предопределен на роль самодержца Всея Руси, хотя, как известно, династические обстоятельства не благоприятствовали этому. По своему воспитанию и семейным установкам Николай — третий сын в семье — не был подготовлен к выпавшей ему роли. *Он сам собственными силами сделал себя самодержцем*, заставив с этим считаться подданных. Однако, вступая на престол, Николай не вполне ясно представлял себе, какой бы он хотел видеть Российскую империю. Деспотизм отца и либерализм брата странным образом сходились своим трагическим концом. В истории его вдохновлял лишь образ Петра Великого. Но Петр опирался на созданное им дворянство, Николай же не мог довериться дворянскому сословию, которое в лице своих сыновей осмелилось поднять руку на царя помазанника Божьего. И он решил, что только *полное самовластие* поможет ему справиться с той глыбой дел, доставшихся ему в наследство. И это ему в каком-то смысле удалось. Беспристрастный свидетель царствования Николая маркиз де Кюстин с изумлением восклицает: «Да, Петр Великий

не умер. Его моральная сила живет и продолжает властвовать. Николай — единственный властелин, которого имела Россия после смерти основателя ее столицы»⁵⁹. Следует заметить, что к созданию образа самодержца, достойного великого предка, сам Николай относился весьма ревностно.

Современники отмечают огромную работоспособность нового императора, при суровом отношении к обязанностям, своим и подчиненных, нетребовательности в повседневном быте, которая сочеталась с царственным блеском на торжественных мероприятиях и светских раутах. Николай знал, что ему предстоит преодолеть отчужденность подданных, но он был убежден, что сильная и целеустремленная власть способна на это. В русле этой установки он приблизил многих именитых сановников Александра — М.М.Сперанского, П.Д.Киселева, М.А.Корфа, С.С.Уварова, Е.Ф.Канкрин, генералов И.И.Дибича, И.Ф.Паскевича и побудил их работать... на Отечество. К этому же типу действий следует отнести и приближение ко двору А.С.Пушкина. Николай предпочел видеть в поэте хоть и ненадежного, но союзника, нежели открытого врага. И, как известно, поэт ответил на эту «царскую милость» «Стансами», в которых угадал сокровенный идеал царя, сравнивая его с Петром Великим.

Николай, в отличие от своего брата Александра, «изнемогавшего под бременем власти», всегда чувствовал свое призвание к выпавшей на его долю миссии. Любимым его детищем была и оставалась армия. Ей он посвящал свои помыслы и большую часть своего рабочего времени. В армии он видел хорошо отлаженный механизм, который не должны испортить никакие человеческие слабости или страсти. Отсюда постоянная строевая выучка, в жертву которой приносилась боевая подготовка армии, чем были весьма недовольны наиболее дальновидные генералы, и что в полной мере обнаружилось в Крымской кампании.

Но армию Николай любил и потому, что видел в ней безупречный образ *государственной машины*, которая, будучи запущена в дело, сама собой способна решить многие трудности и проблемы. Как отмечает его биограф Н.К.Шильдер, еще будучи Вел. кн. Николай преклонялся перед прусской военной системой. Навещая в Берлине своих коронованных родственников, он любил бывать на воинских выучках прусских солдат и поражал своих прусских друзей знанием всех мелочей воинской службы. Впоследствии, будучи уже императором, он так объяснял свое пристрастие: «Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого, никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться /.../ Я смотрю на всю человеческую жизнь как на службу», (заклучил он свои пояснения⁶⁰ .

По этому аналогу военной службы была построена вся управительная система от волостной канцелярии до Государственного совета. Николай твердо верил во все-силлие построенного по военному образцу государственного аппарата. Ему казалось, что такой бюрократический аппарат сможет держать под контролем всю жизнь общества и по мере необходимости регулировать ее. Военизация государственного аппарата распространилась и на административное управление. Во главе большинства губерний были назначены военные губернаторы со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Но хорошо известно, что машина может долго работать и на холостом ходу.

Как истинный самодержец Николай стремился не только во все вникать сам, но ни на минуту не выпускать руководства из своих рук. В этих целях наряду с обычной административно-управленческой системой при императоре была учреждена Собственная Его Императорского величества канцелярия. В I Отделение ее стекались все производимые в кабинетах государства дела и

попадали под бдительное око самого императора. Но одним из самых значительных деяний этого института власти стало издание Полного Свода Законов Государства Российского. Дело в том, что со времени царя Алексея Михайловича в России продолжал действовать созданный в 1649 г. Свод законов. И чиновники вынуждены были пользоваться указами, которые подшивались без всякой системы, один вслед за другим в толстенные книги. Склонный к порядку, Николай и поручил упорядочение старого Свода и кодификацию новых законов М.М.Сперанскому. В этих целях было создано II Отделение Собственной Его Императорского величества канцелярии. Полное собрание кодифицированных законов с 1649 по 3 декабря 1825 г. включительно составило 45 томов. К 1833 году было составлено еще 15 томов действующих законов Свода, принятого в качестве единственного основания решения всех дел. Новый Свод законов государства Российского открывался статьей, утверждающей незыблемость самодержавия: *«Император Российский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной власти не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает».*

Одновременно с работой над кодификацией законов, которые должны были послужить надежной опорой самодержавия, в ход был запущен другой, более действенный механизм управления — тайный сыск, идея которого принадлежала А.Х.Бенкендорфу. В секретной записке Николаю о реформе полиции он писал, что ее приемы широко используются в обыденной практике. Речь идет о перлюстрации служебной и частной переписки, что позволяет держать власти в курсе всех происходящих событий. К этому может быть присовокуплено и доносительство, специально по службе или добровольное за небольшую мзду или покровительство. Эта записка положила начало III Отделению Собственной Его Императорского величества канцелярии с включенным в него корпусом жандармов, т.е. политической полиции, в ведение которой пе-

решили все политические и наиболее крупные уголовные дела. Во главе III Отделения и был поставлен сам Бенкендорф, которого Николай любил за сообразительность и откровенность. Сотрудников III Отделения Николай использовал и для того, чтобы держать под контролем, или страхом постоянного контроля, все службы и даже частную жизнь обывателей, при этом «исключительно в интересах всех добропорядочно настроенных граждан». Он хотел приручить последних видеть в сотрудниках III Отделения непосредственных представителей государства. Тем самым как бы преодолевался барьер бюрократии, отделявший царя от народа. Царь при таком подходе становился подлинным «отцом» нации, призванным опекать ее от злокозненных намерений отдельных злоумышленников. «Никогда еще притязательная самонадеянность этой власти не поднималась в России так высоко, как в николаевское время. Она стремится поглотить и воплотить в себе всю общественность»⁶¹. Дополняло III Отделение Канцелярия IV Отделение, ведавшее чрезвычайными ситуациями. Через этот мощный бюрократический механизм власть самодержца действовала *помимо нормальной системы правительственных учреждений*, что создавало систему взаимной слежки и доносительства. Таким образом, в стране образовался худший вид двоевластия, когда одна власть могла списывать на другую все свои недочеты и провалы.

Волна революционного движения, прокатившаяся в 30-х годах по Европе и впрямую задевшая Россию (польские события), побудила власти обратиться к созданию соответствующей новым обстоятельствам идеологии, которая бы укрепила моральный дух нации. Автором новой идеологии принято считать министра народного просвещения С.С.Уварова, хотя идеи ее носились в воздухе. Однако именно он при посещении Московского университета уже в качестве министра после имевших там место студенческих волнений в докладной записке

на имя императора сумел кратко сформулировать новую идеологию. Настаивая на необходимости сочетания образования и воспитания в целях формирования полезных и верноподданных слуг царя и Отечества, Уваров считал, что необходимо «постепенно завладевши умами юношества, привести оное почти нечувствительно к той точке, где слиться должны, к разрешению одной из труднейших задач времени, образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и теплой верой в истинно русские охранительные начала *Православия, Самодержавия, Народности*, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества»⁶². Причем под православием имелась в виду не «внутренняя правда» самостоятельной русской церкви, о которой мечтали славянофилы, а православная церковь как незыблемый оплот самодержавия. Под народностью понимался идеализированный народ, в духе оперного Ивана Суланина, готового положить жизнь за царя. Идея же самодержавия была облечена в белые патриархальные одежды. Такая формулировка и приобрела статус идеологии официальной народности и получила мощную поддержку в официозной прессе. Если в царствование Александра I могло казаться, что процесс европеизации России достиг своего расцвета, то царствование Николая I стало апогеем русского национализма. Как позже отметит П.Н.Милюков, при Николае абсолютизм окончательно перестал быть «просвещенным»⁶³. Именно с царствования Николая *Россию начинают противопоставлять Европе*.

Николай прекрасно понимал, что основным из нерешенных вопросов, доставшихся ему в наследство, остается *крестьянский вопрос*, являющийся сердцевиной общего вопроса о *состоянии сословий*: нельзя было решить крестьянский вопрос, не затрагивая интересов помещиков. Уже в конце 1826 г. был создан первый Сек-

ретный комитет, призванный наметить пути развязки этого узла. Предложенные этим комитетом проекты решительно настаивали на незыблемости крепостного права. Намечались лишь некоторые пути его смягчения. Но даже эти, ничтожные по своему содержанию, проекты остались нереализованными и забытыми. И все же Николай понимал, что от этого вопроса уйти нельзя, но как его разрешить, не разрушив самих устоев самодержавия, то есть не затрагивая интересов помещиков, он не знал. Для обсуждения этой проблемы возникают один за другим 9 Секретных комитетов с участием в них именитых сановников. Мозговым центром этих комитетов был назначен П.Д.Киселев — государственный деятель Александровской эпохи, который довольно успешно провел реформу государственных крестьян. Однако решение этой задачи облегчалось тем, что государственные крестьяне были лично свободными, и реформа лишь предусматривала изменение управления ими, передав его Министерству государственных имуществ. Реформирование же положения помещичьих крестьян при любом исходе не могло не затронуть интересов «*основного сословия*» империи, «*опоры трона*» — помещиков.

Для решения этой, в принципе неразрешимой, задачи и было создано V Отделение собственной Его Императорского величества канцелярии во главе с Киселевым. Работа по этой программе была сосредоточена в очередном Секретном комитете, деятельность которого, однако, была ограничена принципом *неприкосновенности помещичьей земельной собственности*. Все попытки Киселева обойти или как-то нейтрализовать этот запрет встречали обструкцию со стороны членов комитета — крупных земельных магнатов. И в 1841 г. Николай окончательно отступился, ссылаясь на указ 1803 г., согласно которому освобождение крестьян возможно лишь при условии «*собственного желания*» на то помещиков. Так *консервативное бюрократическое большинство* Комитета

взяло верх над мнением царя-Самодержца. Признав, что крепостное право есть очевидное зло, Николай выразил *волю помещиков*, заявив, что прикасаться к нему в настоящее время было бы делом гибельным. Подобные ситуации не раз подмечал внимательный де-Кюстин: «Как это ни звучит парадоксально, самодержец всероссийский часто замечает, что он вовсе не так всемогущ, как говорят, и с удивлением, в котором он боится сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел. Этот предел положен ему бюрократией, силой страшной повсюду, потому что злоупотребление ею именуется любовью к порядку, но особенно страшной в России», где бюрократия превратилась в административную систему, довлеющую над обществом⁶⁴.

В новые времена, проходившие под знаком революции 1848 г., инстинкт самосохранения побудил Николая встать в ряды европейской контрреволюции. Власть, созданная революцией и полагавшая свою законность в «воле народа», не может быть признана законной, считал он, ибо она подрывает легитимность законных государей. Европейские революции 1848 г. Николай рассматривал как личный вызов ему. И он добровольно возложил на себя функцию международного жандарма. 14 марта 1848 г. был опубликован Манифест, в котором общественное мнение России предупреждалось о «новых смутах», взволновавших западную Европу после «долголетнего мира», о «мятеже и безначалии», потрясающих Францию и угрожающих сопредельным с Россией странам. Император призывал всех русских защищать «неприкосновенность пределов империи», к борьбе «за веру, Царя и Отечество» и к победе, которая даст право воскликнуть: «с нами Бог, разумеете народы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Это изобретенное им восклицание он любил повторять по любому поводу. Но Крымская война показала, что «*Бог не с нами*». Перед смертью это понял и Николай. Он умер с сознанием,

что оставляет сыну тяжелое наследство, что тридцать лет его деятельности во имя долга и величия России обернулись крахом.

3.2 «Революция сверху» как модель либерализации монархии

Одно из важнейших преимуществ самодержавия сравнительно с республиканской формой правления и Тихомиров и Ильин видели в том, что сила и мощь государства, сосредоточенная в одном лице монарха, способна к осуществлению крупного пакета реформ. Подтверждением тому может служить реформаторская деятельность Петра и «Великие реформы» Александра II, как их называли современники.

Александр II пришел к власти после сокрушительного поражения России в Крымской войне и общего кризиса николаевской системы. Он не был поклонником либеральных идей, как его дядя — Александр I. Напротив, еще цесаревичем, будучи привлеченным к работе в Секретных комитетах по крестьянскому вопросу, Александр был даже правее Николая, откровенно высказываясь в пользу безусловного сохранения помещичьей собственности на землю. Да и позже оставался верным идее самодержавия. Но в отличие от дяди и отца он был человеком, не лишенным здравого смысла. После поражения в Крымской войне ситуация в обществе резко изменилась. Среди «образованного общества» в списках ходили политические письма вчерашнего идеолога официальной народности М.П.Погодина, в которых он призывал власти к реформам. «Прежняя система отжила свой век», утверждал он в одном из писем. Под влиянием европейского либерализма изменилась лексика маститого историка. Так если в 1854 г. он ратовал за гласность и просвещение, видя в них залог развития общества, то в

начале 56 г. он призывал Александра II искать выход из кризиса уже на иных путях: «Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на высоте самодержавного русского престола!»⁶⁵. Вчера еще запрещенное слово «свобода» стало у всех на устах. Но, как замечает либеральный историк конца XIX начала XX века А.А.Корнилов, это слово не только у Погодина, но даже у самых радикальных авторов, таких как А.И.Герцен и Н.Г.Чернышевский, было обращено *к монарху*⁶⁶. *От монарха* либеральная общественность ожидала насущных, впрочем весьма умеренных, социальных реформ. Так в записке Т.М.Грановского, опубликованной Герценом в «Голосах из России», выражалась желательность постепенного освобождения крестьян «без потрясения страны». Сам Герцен в открытом письме к Александру, опубликованном в 1855 г. в «Полярной звезде», выдвигал *перед императором* весьма скромную программу: освобождение крестьян от помещиков, освобождение податных сословий от побоев и освобождение печати от цензуры⁶⁷.

Александр, первым делом которого было урегулирование тяжких последствий Крымской войны, после заключения весьма неблагоприятного мира силой обстоятельств вынужден был сосредоточить свои усилия на решении внутренних проблем. Как отмечает Л.Г.Захарова, «Александр II встал на путь освободительных реформ не в силу своих убеждений, а как военный человек на троне, осознавший «уроки» Крымской войны, как император и самодержец, для которого превыше всего был престиж и величие державы»⁶⁸. Александр понял, что если в прежних войнах Россия побеждала численностью армии и глубиной тыла, то в середине XIX века победу обеспечивает военная техника и регулярная обеспеченность армии всем необходимым, несовместимые с рекрутским принципом формирования армии и крепостным правом.

Еще при отце, участвуя в работе Секретных комитетов по крестьянскому вопросу, он понял актуальность этого вопроса и сколь трудно его решить без «потрясения страны», как выражался Грановский. Земля по закону («Жалованная грамота» 1785 г.) принадлежала помещикам. Царь не мог насильно ущемлять права сословия, которое составляет опору трона и к которому он сам себя причислял, без «потрясения основ» или без угрозы пресловутой «удавки». И все же здравый смысл подсказал ему ход решения этой, казалось бы неразрешимой, задачи: инициатива должна исходить от самих помещиков. Первый заход в этом направлении был сделан 30 марта 1856 г. в Москве в выступлении перед представителями дворянства. Александр заявил: «Слухи носят-ся, что я хочу объявить освобождение крепостного состояния. Это несправедливо... Вы может это сказать всем направо и налево. Я говорил то же самое предводителям, бывшим у меня в Петербурге. Но не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого, мы живем в таком веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо *лучше, чтобы это произошло свыше, чем снизу*» (выделено мною. — Л.Н.)⁶⁹. Так в сознание дворянства, и не только либерально настроенного, была внедрена мысль о необходимости перемен в крестьянском вопросе. Вторым шагом в этом направлении стал знаменитый рескрипт на имя виленского генерал-губернатора В.И.Назимова. Зная настроения помещиков Остезийского края, жаждавших отпустить своих крестьян на все четыре стороны, но без земли, виленский генерал-губернатор организовал от их имени ходатайство перед императором. В ответ на него 20 ноября 1857 г. и последовал рескрипт, в котором выражалась благодарность помещикам западных губерний за их почин. От имени правительства было предложено образовать дворянские губернские комитеты для обсуждения условий освобождения крестьян, но

одновременно сформулированы, так сказать, рамочные условия, в которых утверждалась необходимость решения проблемы «крестьянской оседлости», то есть обеспечения в той или иной форме крестьян землей.

Данный рескрипт, разосланный по инициативе либерально настроенных чиновников правительственного аппарата по всем губерниям, сыграл роль катализатора в подготовке крестьянской реформы, тем более что с обсуждения проблемы в интересах дела были сняты цензурные запреты. С ведома императора был запущен механизм *гласности*. Именно в связи с рескриптом 20 ноября 1857 г. Герцен посвятил Александру восторженную статью с многозначительным эпиграфом: «Ты победил, Галилеянин!». «Имя Александра, — патетически писал он, (принадлежит истории: если бы его царствование завтра окончилось, если б он пал под ударами каких-нибудь крамольных олигархов, бунтующих защитников барщины и розги, — все равно, начало освобождения сделано им, грядущие поколения этого не забудут!»⁷⁰. В таком же духе выдержана статья Чернышевского в «Современнике»: «Высочайшими рескриптами, данными 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857 года, благополучно царствующий государь император начал дело, с которым по своему величию и благотворности может быть сравнена только реформа, совершенная Петром Великим»⁷¹.

Правда, по ходу дела положение стало меняться. Появились первые либеральные проекты и программы К.Д.Кавелина, А.М.Унковского, Ю.Ф.Самарина и др. Важнейшее для России дело — освобождение крестьян — способствовало консолидации либерально настроенных сил внутри правительственного «бюрократического» аппарата во главе с министром внутренних дел С.С.Ланским, товарищем министра Н.А.Милютиным. Одновременно сформировалась консервативно-охранительная «партия плантаторов», выражавшая интересы помещиков черноземных губерний, заинтересованных в осво-

бождении крестьян *без земли*. Так уже во время подготовки реформы произошел раскол общественного мнения. Под двойной пресс общественного влияния попал и император, за которым оставалось последнее слово и который ни на минуту не хотел отказаться от своей прерогативы самодержца. Отсюда его колебания, или как писал Герцен, «зигзаги слева направо», выразившиеся в частой смене руководителей и исполнителей программ, что не могло не сказаться на содержании реформы.

В результате крестьянская реформа 19 февраля 1861 года стала определенным компромиссом. «*В правовом отношении*, — подчеркивал А.А.Корнилов, — крестьянская реформа была без сомнения колоссальным шагом вперед во всей новейшей русской истории. Упразднив крепостное право над личностью крестьянина, она открыла широкий путь к полному освобождению народа»⁷². Но как всякий компромисс, она вызвала разочарование в обществе и породила его раскол на радикалов и консерваторов. Не того ожидало и крестьянство. Н.Я.Эйдельман, оценивая реформу с учетом современного опыта, пишет: «Несомненно, с революционно-демократической, крестьянской точки зрения реформа могла, должна была быть лучше; однако следует ясно представлять, что она могла выйти и много хуже». По поводу же отмеченных Герценом «зигзагов» императора он остроумно замечает: «Размышляя над разными движениями власти «слева — направо», заметим, что эти «галсы» были так же в природе вещей: едва ли не буквальною оказывается метафора, что всякий спуск с горы требует «зигзагов». Преобразования сверху все время корректируются левыми и правыми движениями — иначе произойдет стремительное, катастрофическое падение»⁷³.

Как бы то ни было, но крестьянская реформа привела к коренному изменению социальной структуры российского общества. Она расчищала пространство для строительства гражданского общества, что предполагало необходимость продолжения реформ, ибо их незавер-

шенность грозила общим обвалом. Это интуитивно понимал и Александр II. В условиях жесточайшей реакции со стороны «партии плантаторов» и открыто объявленного императору террора со стороны революционных «нетерпеливцев» мучительно, с трудом, «зигзагами» рождалась серия либеральных реформ. Сегодня, имея весьма не оптимистический и незавершенный опыт реформ конца XX века, простой перечень реформ, осуществленных царским правительством в 60-х гг. прошлого века, внушает уважение и изумление:

19 февраля 1861 г. (крестьянская реформа: отмена крепостного права);

1864 — реформы в сфере народного образования, в том числе новый университетский устав, определивший автономию университетов;

1864 — земская реформа, положившая начало местному самоуправлению;

1864 — одна из самых демократичных судебных реформ;

1865 — реформы в области печати и цензуры, обеспечивающие гласность;

1870 — городская реформа, открывшая начала городского самоуправления;

1874 — радикальная военная реформа на основе введения всеобщей воинской повинности.

Не случайно в либеральных кругах, среди тех, кто принимал участие в разработке проектов и *делании самих реформ*, за Александром II закрепилось имя «царя-Освободителя», а за 60—70-х годами — характеристика «*эпохи Великих реформ*».

Естественно возникает вопрос: что является иницирующей силой этих реформ со всеми их контрверзами? В ответ на него следует обозначить три источника: 1) историческая эпоха, *востребовавшая перемен во что бы то ни стало*; 2) *рост либеральных настроений* в обществе и в управленческом аппарате, способствовавший консо-

лидации преданной идее команды разработчиков реформ; 3) и несмотря ни на что, *решимость императора* идти по пути реформ, хотя в конечном счете они вели к ограничению самодержавия. Этого, разумеется, Александр-самодержец стремился избежать, хотя как государственный деятель в глубине души понимал общую логику исторического процесса.

Продвижение реформ, как уже отмечалось, вызвало жесточайшее сопротивление как со стороны «партии плантаторов», так и со стороны «развязанной» молодежи, принадлежащей к сословию разночинцев, численность которого быстро росла *благодаря* реформам. Разочаровавшись в тактике «хождения в народ», они перешли к открытой конфронтации с властью, в том числе к отрицанию положительного опыта «отцов». С легкой руки И.С.Тургенева это, ставшее модным, направление получило почти собственное имя — «нигилизм».

4 апреля 1866 года прозвучал выстрел Каракозова, произошло первое покушение на жизнь царя-Освободителя. И хотя при всем пристрастии следственного дела заговора не было обнаружено, само покушение на *священную особу государя* и причастность Каракозова к *подпольной организации* сыграли роковую роль: оно, по выражению Ф.М.Достоевского, послужило сигналом, что «*Все дозволено!*». Это развязало в стране *кровавый террор*, который всегда бывает двусторонним. Ответом на выстрел стала полоса политических репрессий, породившая новые покушения и новую волну репрессий. В конце концов, это привело к расколу общества. Партия радикальных революционеров — «Народная воля», точнее ее Исполнительный комитет, увидела в терроре, с той и другой стороны, надежнейшее средство пробуждения революционного духа в народе и откровенной провокации его на революцию. После очередного неудачного покушения на императора (подкоп на железной дороге и взрыв царского поезда) вышел № 3 подпольного органа «Народ-

ной воли», открывающийся некрологом в память 3 казненных товарищей по партии. В этом преступлении обвинялся «Александр — вешатель». И далее читатели оповещались о только что произошедшем покушении на царя (сколько при этом было напрасных жертв, не сообщается), ответственность за которое Исполнительный комитет «Народной воли» взял на себя. Более того, в листе «Народной воли» и дополнительно в прокламации, рассчитанной, по-видимому, на массовое распространение, объявлялось, что «смерть Александра II — дело решенное», и доведения его до конца — вопрос времени. В прокламации этот тезис представлен в обостренно развернутом виде: «Александр II — главный представитель узурпации *народного самодержавия*, главный столп реакции, главный виновник судебных убийств /.../ Он заслуживает смертной казни за всю кровь, им пролитую, за все муки, им созданные». Политике реформ народовольцы противопоставили революцию, независимо от того, какой кровью она будет оплачена. «Общественная реформа в России — это Революция». Так «деспотической утопии» самодержавия революционеры противопоставляют свою, «народную утопию», в которой народ выступает как верховный распорядитель своих судеб⁷⁴.

Напряженность противостояния двух сил нарастала. Результатом этого противостояния были усилившиеся репрессии с одной стороны и террор — с другой. Исходом его стала трагическая смерть императора. И все же в этом противостоянии победил Александр II, победил потому, что реформы, заложенные им, не смогли перечеркнуть ни террористы, ни контрреформы последующего царствования. Революционные радикалы «Народной воли» проиграли: партия была разгромлена, но главное — мученическая смерть царя не пробудила революционного духа народа, на что они рассчитывали, напротив, все общество было шокировано случившимся.

По поводу случившегося Ильин задается вопросом, мучившим не только его: что побудило радикальных революционеров, или «нетерпеливцев», как их называли в обществе, терпеливо сносивших деспотизм николаевского режима, выступить таким образом против царя реформатора? «То, во что они не верили, и чего многие и не хотели, были *реформы, исходящие от трона*». «Отсюда все покушения на Александра II, озлобленность и жестокость которых он сам не мог понять, когда после московского железнодорожного покушения со слезами на глазах спрашивал: «За что они так ненавидят меня?!» Ответ мог быть трагически прост: *за творческое оправдание русского трона перед лицом народа и истории...*»⁷⁵.

Отмена крепостного права, независимо от отношения к ней, вызвала цепную реакцию реформ практически во всех сферах жизни гражданского общества. В процессе и результате глубоких социальных преобразований *Россия вступила в новую эпоху развития*. Их завершением должно было стать принятие «Конституции Лорис-Меликова», предполагавшая введение представительного органа с законосовещательными правами. Реализация проекта Лорис-Меликова не ограничивала самодержавия, но его развитие вело к тому. Подписывая **1 марта 1881 г.** проект к рассмотрению его в Совете министров 4 марта, царь понимал это. Но седьмой террористический акт народовольцев против царя сорвал эти намерения и тем самым закрыл альтернативу либерального развития страны.

В содержательном и проблематичном исследовании Б.Г.Литвак, о чем свидетельствует само название труда: «Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива», характеризует эпоху 60-х годов как скачок в социальном развитии России: «Крестьянская реформа 1861 г. больше всех остальных коснулась экономического базиса общества, и оказалось, что одно только снятие с рук десяти миллионов мужиков

высвободило такую затаенную энергию, что в течение двух десятилетий Россия совершила гигантский скачок в своем экономическом развитии», чему автор приводит фактическое подтверждение⁷⁶. И все же, отвечая на поставленный в заглавии книги вопрос «почему не реализовалась реформаторская альтернатива?», автор видит причину этого в политической незавершенности социальных и экономических реформ. Правда, так и остается неясным, кто виноват в этом: террористы, все время торпедировавшие нормальное развитие реформ, убитый ли ими император Александр II, незавершивший реформы, или восторжествовавшая в лице Победоносцева и самого наследника престола Александра III реакция. Думается, что причиной срыва, незавершенности реформ стал парадоксальный союз агрессивной реакции и революционного радикализма. Впрочем, аналогичная ситуация еще не раз будет складываться в истории России. Более того, основоположники марксизма видели в ней специфический и оптимальный путь развития России. Так К.Маркс, солидаризируясь с одним из своих русских корреспондентов, писал: «Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она идет с 1861 г., то она упустит наилучший шанс, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу и испытает все роковые злоключения капиталистического строя». Вслед за Ф.Энгельсом он практически поощрял метод террора как вполне «естественный» для России способ борьбы⁷⁷.

Двусмысленность отношения различных классов к реформам и их инициатору — Александру II отмечает и В.О.Ключевский. «Имп. Александр II совершил великую, но запоздалую реформу России: в величии реформы — великая историческая заслуга и [императо]ра; в запоздалости реформы — великое историческое затруднение русского народа. Но общество решило, что Россия сошла со старых основ своей жизни, и по этому решению настроило свое историческое мышление. Отсюда

родился ряд практических недоразумений». К числу этих «недоразумений» историк относит равнодушие общества (имея в виду образованные классы), которое «не всегда оказывалось на высоте положения, создававшегося реформами». Не на высоте положения, по его мнению, оказались и крестьяне, не сумевшие должным образом воспользоваться открывавшейся перед ними перспективой. «Отвращение к труду, воспитанное крепостным правом в дворянстве и крестьянстве, надобно поставить в ряду важнейших факторов нашей новейшей истории. *Торжеством этой* настойчивой работы старины над новой жизнью было внесение в нравственный состав нашего общества нового элемента — недовольства, и притом неискреннего недовольства, в котором недовольный винил в своем настроении всех, кого угодно, кроме самого себя, сливал грех уныния с больной головы на здоровую»⁷⁸.

Однако, и правовед Ильин, и историк Ключевский упустили из вида, что проведенные реформы подрывали корни самого самодержавия. Полная и последовательная реализация реформ неизбежно вела либо к конституционной монархии, постепенный «бархатный» переход к которой пытался осуществить М.Т.Лорис-Меликов, либо к ее падению. Попытки «подморозить самодержавие», предпринятые Александром III, лишь оттягивали время его конца.

3.3. Опыт реанимации самодержавия

Царствование Александра III вошло в российскую историю под знаком контрреформ, направленных на укрепление пошатнувшегося самодержавия. Александр не предназначался в наследники Российского престола. К этому готовился его старший брат, умерший в возрасте 20 лет. И следующего наследника просто не успели приготовить к его великой миссии. Суждения о новом императоре во вре-

мя его прихода к власти и особенно после были весьма противоречивые, от самых уничижительных до возведения его в ранг «царя милостью Божьей». Так С.Ю.Витте в своих «Воспоминаниях» характеризовал наследника как человека «ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования». Приблизительно так же оценивал способности своего ученика и его воспитатель К.П.Победоносцев. Но по мере вхождения нового царя во власть отношение к нему меняется. Тот же Витте уточняет свою характеристику: «Александр III был человеком сравнительно небольшого образования, можно сказать — он был человеком ординарного образования. Но вот с чем я не могу согласиться и что часто мне приходилось слышать, это с тем, что император Александр III не был умным... Может быть, у императора Александра III был небольшой ум рассудка, но у него был громадный, выдающийся ум сердца», что, по мнению автора, важнее ума рассудка⁷⁹.

Из этого разночтения можно, пожалуй, признать четыре качества, свойственных новому императору: это был весьма необразованный человек, но обладающий природным умом, флегматик по натуре, склонный к упрощению возникающих перед ним проблем, но стоящий на принятых решениях до конца, в его убеждениях преобладало одно — *безусловная преданность православной идее самодержавия*. Среди наставников наследника и самодержца следует выделить роль профессора права, позже обер-прокурора Святейшего синода К.П.Победоносцева, убежденного монархиста, считавшего, что только самодержавный строй может сохранить величие России. Так здоровые инстинкты ученика и целеоносмысленная воля учителя слились воедино. Им удалось, по выражению Леонтьева, «на время подморозить Россию». Нужно ли удивляться тому, что весьма умеренный проект представительного учреждения, так называемая «Конституция Лорис-Меликова», подписанный Александром II в день

его гибели к рассмотрению в Совете министров, после страстной отповеди Победоносцева был провален новым царем. В результате все либерально настроенные министры прошлого царствования вынуждены были уйти в отставку. Так одним приемом была устранена опасность «конституционных мечтаний» и расчищено социальное пространство для контрреформ.

Первоначально в сфере государственного управления Александром — поклонником старины — был опробован вариант возрождения исконно русских форм государственности. Вместо умного и осторожного Лорис-Меликова министром внутренних дел был назначен Н.П.Игнатьев, известный в обществе своими заигрываниями со славянофильством да еще, по свидетельству самого Победоносцева, крайней беспринципностью. Учитывая неизжитые либеральные настроения части интеллигенции, он с помощью вождя позднего славянофильства И.С.Аксакова, решил канализировать эти настроения в русло национальной политики. Аксаков вместе со своим «напарником» разработал «грандиозный план» созыва всесословного Земского собора, «способный посрамить все конституции в мире, нечто шире и либеральнее их и в то же время удерживающее Россию на ее исторической, политической и национальной основе»⁸⁰. Приуроченный к коронации Александра Земский собор, по мысли его проектировщиков, должен был всенародно подтвердить необходимость для России самодержавия. Однако коронация затягивалась, медлительный, как всегда, Александр не торопился с одобрением проекта. Зато об идее Земского собора прознали более искушенные политики — Победоносцев и Катков, увидевшие в ней опасную провокацию «несбыточных мечтаний» о конституции. Эту мысль они сумели довести до императора. Почувствовав угрозу самодержавию, царь сменил на посту министра внутренних дел склонного к авантюрам Игнатьева Д.А.Толстым, репутация

которого оценивалась современниками однозначно — как махрового реакционера, ненавидящего всякое проявление свободы. Так закончился утопический социальный эксперимент реанимации прошлого в исторических условиях, давно перешагнувших его время.

Утверждение реакционера Толстого в должности министра внутренних дел означало решительный отказ Александра от преобразований страны, начатых отцом, и возвращение к тотальному самодержавию. Можно согласиться с В.А.Твардовской, усматривающей наличие общего плана *контрреформ* в правительстве Александра III в ликвидации всех общественных завоеваний, достигнутых в шестнадцатом царствовании⁸¹. К их числу, начиная с отмены проекта «конституции Лорис-Меликова», следует отнести «Положение о мерах к охранению государственного порядка». Фактически это означало признание власти, что она *не способна управлять страной на основе своих собственных законов*. И хотя эти меры объявлялись временными, они просуществовали до 1917 года. Впрочем, как известно, *всякая реставрация неизбежно принимает незаконный характер*. За ним последовал закон о введении должности земских начальников из числа местных помещиков, которым перепоручались полицейские функции по отношению к крестьянам при том, что их деятельность оплачивалась из казны, этому сопутствовал ряд контрреформ, направленных на реанимацию общины, как особого типа жизнеобеспечения «крестьянского сословия», усиление ее полномочий по отношению к волеизъявлению отдельных хозяйствующих на земле субъектов.

Контрреформы распространялись и на духовную сферу. В 1884 г. был принят новый университетский устав, ликвидировавший их автономию, тогда же введены «Временные правила о печати», то есть, по существу, правила карательной цензуры; резко ограничены полномочия суда присяжных, из ведения которых исключались политические дела, разрешена административная высылка

ка «неблагонадежных»; ряд циркуляров по народному просвещению, в том числе и вошедший в историю циркуляр о «кухаркиных детях» и др. Новое Положение о земских учреждениях, казалось бы, поставило точку в системе контрреформ и восстановлении прерогатив самодержавия. Не случайно по этому поводу ликовал в своей проправительственной газете «Московские ведомости» Катков, претендовавший на роль, как бы теперь сказали, имиджмейкера новой власти и весьма преуспевающий в этом: «Итак, господа, встаньте, — правительство идет, правительство возвращается!» Совершенно иначе оценивал эпоху царствования Александра III подлинный властитель дум эпохи — Л.Н.Толстой, как эпоху, «разрушившую все то доброе, что стало входить в жизнь при Александре II, и пытающуюся вернуть Россию к варварству времен начала нынешнего столетия»⁸².

Александр и его доверенные сановники прекрасно понимали, что самодержавие без дворянства не может иметь политической будущности. Видя в разложении дворянского сословия реальную угрозу самодержавию, они попытались приостановить этот процесс. Свое царствование Александр III начал с того, что объявил помещичью собственность на землю неприкосновенной. Позже, воспользовавшись столетним юбилеем «Жалованной грамоты дворянству», он еще раз подтвердил ведущую роль «благородного сословия». Этим идейным установкам соответствовали и определенные дела. В 1885 г. был учрежден Дворянский поземельный банк, предоставлявший на очень льготных условиях ссуды помещикам для реорганизации хозяйственной деятельности в новых условиях. Но эта мера лишь усугубила разорение дворянства. Ссуды немелко расходовались, имения закладывались, перезакладывались, пока, наконец, не попадали в руки спекулянтов-перекупщиков. Короче, по определению Г.В.Плеханова, правительство Александра III привело «первое сословие» к экономическому краху и к полнейшей деморализации.

В решении крестьянского вопроса Александр III, любивший, когда его называли «*мужицким царем*», пошел двумя путями. С одной стороны, при нем были несколько снижены выкупные платежи крестьян, отменена подушная подать, организовано переселение крестьян на пустующие земли, учрежден Крестьянский банк, в котором крестьяне могли брать ссуду, впрочем, на гораздо более жестких условиях, чем помещики в Дворянском банке. С другой стороны, правительство Александра постаралось по-новому прикрепить крестьян к земле и вернуть их под контроль помещиков. Были предприняты законодательные меры по укреплению общины. На это был направлен закон о неотчуждаемости крестьянских наделов и ограничении переделов земли, усиление роли общины. Это связывало хозяйственную инициативу крестьян, стесняло их свободное перемещение. Введение должности земских начальников, назначаемых из помещиков, возвращало крестьян под их опеку и контроль в обход земским выборным учреждениям. Наконец, контрреформа по земским учреждениям резко снизила представительность в них крестьянского сословия и его статус. Однако все эти мероприятия оказались слабо эффективными. Деревня продолжала нищать, община разлагаться. На этой почве происходило выделение и обогащение прослойки кулачества и отток дешевой неквалифицированной рабочей силы в города, что не решало проблемы деревни, но создавало новые проблемы для города.

Итак, две самые фундаментальные скрепы самодержавия — дворянское и крестьянское сословия, дали трещину. Однако реформы предшествующего царствования сделали свое дело: на фоне разложения сословных отношений под покровом охранительных контрреформ в России медленно, и мы бы сказали «*тупо*», шло развитие *«русского капитализма»*. Развитие капитализма в России изначально, начиная с Петра, проходило при прямом

покровительстве самодержавия и потому было заинтересовано не столько в свободе, сколько в укреплении этой связи. После разгрома русской армии в Крымской войне стало ясно, что без интенсивного развития промышленности Россия обречена скатиться на обочину истории. Это понимали наиболее прозорливые представители власти (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте и даже К.П.Победоносцев). Отчасти это понимал и император. Выход из промышленного кризиса был найден им в политике откровенного, доведенного до цинизма, протекционизма. Запретительные импортные пошлины, отсутствие конкуренции внутри страны позволяли русским предпринимателям диктовать цены потребителю и наживаться за его счет. По поводу деструктивности такой политики сетовал даже К.П.Победоносцев⁸³.

Одновременно царское правительство по совету Витте санкционировало централизацию железнодорожного строительства — ведущей в то время отрасли промышленности, — и соответственно эксплуатации железных дорог. Русский капитал жаждал захвата новых рынков Средней Азии, Польши, Финляндии. На этой почве состоялась как бы негласная сделка между правительством и капиталом: «Вы поддерживайте нас против конституционалистов, мы же, со своей стороны, будем охранять вас от конкуренции западноевропейских товаров». «Наши купцы постоянно говорили о «стратегии», а наши полководцы об «интересах торговли» — иронизирует Плеханов⁸⁴.

Поощряя, по рекомендациям Бунге и Витте, промышленное развитие, Александр ощущал противоречивость этого процесса, порождающего *новую для России форму противоречий между трудом и капиталом*. Отсутствие рабочего законодательства побудило царя взять на себя роль Отца-посредника между предпринимателями и рабочими. В царствование Александра были приняты и первые рабочие законы: об ограничении работы ма-

лолетних, о воспрещении ночного труда женщин и детей, введена фабричная инспекция с достаточно широкими полномочиями надзора за деятельностью хозяев и рабочих. Однако складывающиеся в стране новые производственные отношения, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, все больше выходили из-под патримониального контроля самодержавия. Они требовали иных, либерально-правовых форм управления. Подтверждением тому стали нарастающие стычки между рабочими и хозяевами, в частности крупнейшая для того времени стачка на морозовских мануфактурах в Ивано-Вознесенске. Подтверждением тому стал и страшный голод 1891—92 гг. в богатой сельскохозяйственной стране. Разрыв между развивающейся под эгидой государства промышленностью и все еще не преодолевшей крепостнических отношений разоряющейся деревней усиливался.

В целях преодоления нарастающего противоречия была произведена смена идеологического курса. Не срабатывающую более идеологию официальной народности дополнила идеология «России для русских», призванная усилить «духовное единение нации». И она действительно способствовала активизации самых низменных инстинктов людей, выбитых из своего привычного социального состояния. Впрочем, шовинизм в равной мере проявлялся как в низах деклассированного общества, так и на самом высшем уровне царского окружения. Выражением национальной политики самодержавия стала откровенная русификация национальных окраин, распространявшаяся и на более развитые, чем Россия, Польшу и Финляндию. Этому соответствовала оголтелая шовинистическая кампания в бульварной и проправительственной прессе. Разжигание националистических страстей привело к еврейским погромам, к столкновениям на национальной почве.

Александра III иногда называют царем-миротворцем. При нем действительно не велось крупных военных кампаний. Но Плеханов не видит в этом заслуги царя: «*Он лишь пожинал плоды франко-германской войны 1870-1871 гг., брошившей Францию в объятия русского царя*»⁸⁵. Франция в своем противостоянии Германии возлагала большие надежды на дружбу с «северным колоссом». В результате активности французской политики в этом отношении Россия оказалась втянутой ко многому обязывающий союз «Сердечного согласия» с Францией, вскоре переросший в тройственный империалистический союз — Антанту. Так в царствование «царя-миротворца» была заложена неизбежность участия России в империалистической войне в самых невыгодных для нее условиях.

Однако в эпоху царствования самого Александра III, казалось, еще ничто не предвещало скорого конца Российской империи. Многие историки, в том числе современные, считают царствование предпоследнего Романова самым спокойным, едва ли не образцовым. Естественно возникает вопрос: почему Александру III так легко удалось осуществить целую серию контрреформ? Конечно, в этих начинаниях его поддерживала бюрократическая олигархия, а также масса мелких и средних помещиков, рассчитывавших на восстановление своего пошатнувшегося положения. Не удовлетворенным предшествующей реформой оставалось и крестьянство: слишком малыми оказались наделы и слишком большими выкупные обязательства, свои надежды оно связывало с «добрым царем». Основная масса фабричных мастеровых — вчерашних обезземеливших крестьян, так же уповала «на царя как родного отца», как поется в народной песне. И нарождающийся капитализм видел залог своего процветания в государственных заказах и покровительстве царя. Таким образом, *политика контрреформ молчаливо исходила из столь же молчаливой* (пока) *поддержки* или, во всяком случае, сочувствующего нейтралитета различных слоев населения.

Более того, в практике контрреформ 80—90-х гг. просматривается определенная *историческая закономерность*. Любая радикальная реформа разрушает сложившиеся, плохие или хорошие, стереотипы жизненной деятельности людей, их привычки и образ мышления, порождая у одной части населения неудовлетворенность реформами, решимость их изменить во что бы то ни стало, у другой — пассивную ностальгию по прошлому порядку. В результате возникает разрыв между авангардом реформ и их арьергардом. На этой почве, как правило, и произрастают системы контрреформ. Они оттягивают вырвавшийся вперед авангард к увязшему в непривычных обстоятельствах арьергарду, обрекая тем самым все общество на движение вспять. Значит ли это, что контрреформы есть неизбежное следствие эпохи радикальных реформ? Опыт истории позволяет дать отрицательный ответ на этот вопрос. Но система реформ, какой бы она ни была радикальной, должна предусматривать, с одной стороны, возведение их «под правовую крышу», или, как говорили либералы 60—80-х гг., «увенчания здания», имея в виду конституцию, с другой стороны, обеспечение прочной социальной базы, то есть *создание среднего класса*. И если «конституцию Лорис-Меликова» можно было бы посчитать движением в первом направлении, то по отношению ко второму — не было ничего предпринято ни царем-освободителем, ни поборниками «русского капитализма» с его ориентацией на государственный протекционизм. Таким образом, в незавершенности реформ 60—70-х годов причина успеха контрреформ Александра III. Но как всякая *реализовавшаяся утопия*, она оставляла после себя *вакуум*, чреватый разрушительными последствиями.

Порочность сложившейся системы видел прозорливый Витте, но во время своего служения власти и он не смог предотвратить ее пагубных последствий. Лишь позже в своих писавшихся под строжайшим секретом

«Воспоминаниях» он позволил себе объективно оценить эпоху царствования Александра III, к которой был причастен. Императору Александру III, писал он, ставится в укор наряду с пересмотром университетского устава 60-х годов перемена земского положения 64 года на положение 90 года, введение земских начальников, вообще введение принципа какого-то патриархального покровительства над крестьянами как бы в предположении, что крестьяне навеки должны оставаться «в таких стадных понятиях и стадной нравственности». И хотя как верноподданный он старается реабилитировать императора его «добрыми намерениями», все же безоговорочно констатирует: «Я эти воззрения считаю глубоко неправильными воззрениями, которые уже имели очень большие дурные последствия, выразившиеся в событиях, разгоревшихся в 1905 году; эти воззрения еще будут иметь громадные дурные последствия в жизни России»⁸⁶. Таким образом, один из умнейших государственных деятелей России напрямую связывает систему контрреформ царствования Александра III, резко изменивших курс развития страны по пути либерализации, с общесистемным кризисом самодержавия, приведшим его к краху.

3.4. Падение самодержавия

Николай II вступил на престол Российской империи 20 октября 1894 года. И ничто, казалось, не предвещало ее скорого конца. Отец — Александр III оставил, ему государство в более или менее стабильном состоянии. Сам Николай — старший сын в семье, изначально готовился к своей миссии. Он получил приличное общее образование и одновременно прошел солидную военную подготовку. В возрасте 13 лет Николай становится цесаревичем, то есть законным наследником престола. С.Ю.Витте характеризует Николая как человека «несомненно,

очень быстрого ума и очень быстрых способностей». В этом отношении он стоит «гораздо выше своего августейшего отца»⁸⁷. Однако м-м Богданович, весьма осведомленная хозяйка салона высшей бюрократии, записывает в своем дневнике уже в 1899 г.: «Общее мнение о царе, что у него нет своего мнения, всякий, кто последний с ним говорил, тот и прав в его глазах»⁸⁸. По признанию многих историков Николая отличала склонность к религиозному мистицизму. С малолетства он уверовал в идею провиденциальной основы царской власти, которая *предопределена ему Божественным Провидением*. Подобный рефрен пронизывает все официальные документы и неофициальные письма царя. По выражению Г.П.Федотова, Николай был «православным романтиком», что лишало его воли к самостоятельным решениям и определяло покорность судьбе, в каком бы облики она не выступала.

Склонность царя к мистическим откровениям и таинствам, усиленную влиянием императрицы Александры Федоровны, отмечают многие современники. Отсюда то постоянное окружение царской семьи различного рода целителями, предсказателями, «святыми людьми», в числе которых Григорий Распутин был отнюдь не единственным, но самым влиятельным. И хотя многие современные биографы считают слухи о влиянии Распутина на политику царя, равно как и влияние его супруги, едва ли не переходящее в шпионаж, сильно преувеличенными, важно то, что они получили широкое хождение в массовом сознании. Тем самым, по определению Ильина, подрывалось *монархическое правосознание народа*.

В этом состояла драма последнего монарха. Дело в том, что, как справедливо замечает один из современных его биографов А.Н.Боханов, «благочестивый христианин вряд ли вообще мог быть удачливым правителем в новейшее время. Если родоначальник романовской династии, Михаил, в первой половине XVII века имел возможность править, опираясь на веру и молитву, находя в пророчествах и предсказаниях ответы на многие вопросы, то через 300 лет требовалась уже совсем другая опора»⁸⁹.

Но Провидению, как твердо веровал Николай, было угодно именно Его призвать на трон самодержца Российского. И хотя у него, как у всякого наследника, была альтернатива выбора, в речи на торжественном приеме по случаю восшествия на престол в 1895 году он твердо объявил о своем призвании: «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданных чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что Я, посвящая все Свой силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его Мой незабвенный покойный родитель»⁹⁰.

Эта речь определила расстановку социальных сил на весь период царствования Николая II. Она вызвала глубокое разочарование либеральной общественности и создала непреодолимый барьер между императором и наиболее прогрессивными кругами интеллигенции и деловых кругов. И логика истории была на их стороне: то, что удалось сделать императору-отцу, «подморозить Россию», не могло удалиться сыну — Россия оттаяла. Произошла резкая дифференциация социальных сил. Когда-то более или менее замкнутые сословия оказались размытыми, на их основе формировалась новая социальная (классовая) структура общества, выходящая за сферу компетенции и управленческих возможностей самодержавия.

Но как бы то ни было, став императором, Николай был полон благих намерений с достоинством исполнить свое призвание. В одном из писем П.А.Столыпину Николай следующим образом продекларировал свое монархическое кредо: «Я имею всегда одну цель перед собой: благо родины; перед этим меркнут в моих глазах мелкие чувства отдельных личностей»⁹¹. Позже, ответив на

вопрос всероссийской переписи о роде занятий — «Хозяин земли Русской», Николай искренне стремился править страной как хороший хозяин.

Однако, злой рок, используя провиденциалистскую терминологию, казалось, преследовал Николая с первых лет его царствования. Коронации Николая в 1896 г. В Москве сопутствовала катастрофа на Ходынском поле, оставившая после себя около двух тысяч раздавленных в толпе, соблазненной царскими гостинцами. И в этот же день, боголюбивый царь вопреки элементарному чувству сострадания, отправляется на бал во французское посольство, что, естественно, стало достоянием общественного мнения. В 1896—97 гг. происходят крупные стачки в Петербурге, Екатеринославе, Орехово-Зуеве и др. городах. За ними последовала первая всероссийская студенческая забастовка, ответом на которую стали Временные правила, разрешающие за участие в беспорядках сдачу студентов в солдаты. В ответ на это выстрелом студента Карловича, смертельно ранившего в 1901 г. Министра народного просвещения Н.П.Боголепова, подписавшего эти Правила, был открыт мартиролог видных царских сановников. Инициативу террора от разгромленных народовольцев перехватили эсеры. Вскоре этот список пополнился убийством министра внутренних дел Д.С.Сипягина и вновь назначенного министра В.К.Плеве. Дело дошло и до членов царской фамилии. В начале 1905 г. Был убит московский генерал-губернатор, дядя императора Вел. Кн. Сергей Александрович. Злой рок преследовал царя и в семейно-династическом плане. Долгожданный наследник престола оказался неизлечимо больным ребенком, что усилило мистические настроения царя. Неудачи по проведению войны с японцами, с помощью которой власти рассчитывали снять внутреннее напряжение в стране, завершилась трагедией полного поражения русской армии. Неудача в войне дезорганизовала экономику страны и деморализовала патриотические чувства народа. На этой почве

вновь поднялась волна народного недовольства и консолидации политических антиправительственных сил. Кульминацией антиправительственных настроений стало «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. И хотя царя в это время не было в Петербурге, общественное мнение народа прочно связало произошедшую трагедию с его именем.

9 января 1905 года послужило прологом первой русской революции. Под напором нарастающего революционного движения власти вынуждены были пойти на уступки. Попытки ограничиться полумерами, типа Булыгинской законосовещательной думы, наподобие Лорис-Меликовской, не увенчались успехом. Время для этого безвозвратно ушло. По рекомендации Витте царь вынужден был, переступив через свои убеждения и принципы, 17 октября 1905 года подписать Манифест о созыве Государственной думы.

Манифест 17 октября, подготовленный Витте, был выдержан в высоком стиле народной печали и царской милости. «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единства державы всероссийской». В текст Манифеста по настоянию Николая были включены слова, призванные сохранить лицо самодержца: Манифест был преподан как *милость монарха*, который перепоручает правительству «даровать населению *незыблемые основы гражданской свободы* на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов /.../. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от

нас властей»⁹². Монархическое правосознание в этом Манифесте выдает себя лишь в словах *дарования* монархом конституции своим подданным. Но известно, что царь еще не раз попытается забрать назад или урезать свои «дарования», что в конечном счете и приведет к окончательному падению не только самодержавия в России, но и невозможности его замены конституционной монархией, ибо подорванной оказалась сама монархическая идея.

В тронной речи на открытии Государственной думы Николай попытается восстановить монархическую идею, заговорив с думцами как «Хозяин земли Русской»: «Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. С пламенной верой в светлое будущее России Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от себя. Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас. Я же буду охранять непоколебимые установления, Мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству, для выяснения нужд столь близкого Моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия Государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права». И далее следовало обращение к думцам: «Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа. Бог в помощь Мне и вам»⁹³.

Казалось бы, Бог, действительно, благоволил к России. Почти десятилетие со дня образования Думы до империалистической войны было одним из самых преуспевающих в истории России за последние полстолетия. Это было десятилетие роста промышленности, в час-

тности строительство железных дорог и связанное с ним развитие тяжелой индустрии. Это было время стабилизации бюджета. Это был «серебряный век» русской поэзии и искусства, возрождения русской философии. В административно-государственном плане Николаю II сильно повезло. На его царствование «выпало» два крупнейших политика — министр финансов С.Ю.Витте, подготовивший денежную реформу на основе эквивалентной замены бумажных ассигнаций золотым рублем и сумевший направить промышленное развитие страны по наиболее перспективному для нее курсу, и премьер-министр — П.А.Столыпин, взявший на себя решение почти неразрешимой аграрной проблемы. Но первого Николай уволил с должности, хотя и в дальнейшем часто обращался к его услугам. Второго «позволил убить» у себя на глазах своей охранке. Так оказалось, что самое надежное оружие самодержавия выпало из рук царя.

Манифест 17 октября 1905 г. и образование Государственной думы стали переломным рубежом последнего царствования. По существу они означали *конец самодержавия*. Катализатором этого процесса стала империалистическая война.

Царская власть, все еще ведавшая внешней политикой, правом объявления войны и заключения мира, *позволила вовлечь себя* в империалистическую войну. Как явствует из материалов, приведенных в книге А.И.Уткина⁹⁴, внешнюю политику страны вершил не царь, а весьма разношерстный круг приближенных ко двору лиц, в том числе и «любезный друг» Распутина. В проправительственной прессе вновь замаячили религиозно-патриотические идеи о водружении креста на храме Святой Софии в Константинополе, а заодно и обретении черноморских проливов, о помощи братьям-славянам, о восстановлении международного престижа России как великой державы по отношению к зарвавшимся «тевтонам». В войне, во всеобщей мобилизации и, «даст Бог»,

в победоносном наступлении российской армии и разгроме «тевтонского супостата» окружение царя видело возможность радикального изменения политической ситуации. И хотя ситуация действительно была сложной, царь и не попытался преломить ее по-своему, он оказался марионеткой в руках шовинистических сил. В его оправдание можно лишь заметить, что шовинистический угар захватил и думскую оппозицию. В начале войны мало кто *предвидел*, что война окажется столь затяжной и столь неудачной, что переполнит чашу терпения народа и свергнет страну в пучину хаоса.

В августе 1915 г. Царь решил исполнить свой «священный долг» перед Отечеством и народом: он принял на себя командование армии. Злоязычный Витте видел в Николае достоинство в лучшем случае полкового командира. Поэтому справиться положения на фронте он просто не мог. Но дело не только в этом. Судя по источникам, складывается впечатление, что царь отправился в действующую армию просто потому, что не знал, что ему делать в столице своего государства. На фронте все казалось более привычным: есть враг, и есть свои верноподданные солдаты и командиры, и нужно только направить их усилия на победу. Но и эта традиционная связь монарха как вождя с армией надорвалось. «явление царя» перед воинством уже никого не вдохновляло, ни генералов, ни солдат. Выражаясь языком Ильина, правосознание самодержавия у народа иссякло. На фронте, как и в тылу, *царь оказался лишним*. И этим было предопределено его отречение.

В отступлении царя в столице события развивались столь стремительно, что 1 марта Временный комитет Государственной думы по соглашению с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов был преобразован во Временное правительство. И уже 2 марта А.И.Гучков и В.В.Шульгин явились в ставку и от лица Временного правительства потребовали отречения царя.

Свидетелей этого события и историков удивляло, что царь внешне спокойно воспринял это обращение и подписал подготовленный Манифест о добровольном отречении от трона от своего имени и от имени наследника Алексея. В своем дневнике он объясняет себе (или историю) свое решение тем, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно было решиться на этот шаг. Тем самым самодержец Российской империи и главнокомандующий ее войсками даже для себя признал свою *ненужность* России.

Уже в эмиграции в серии статей с вопрошающим названием «Почему сокрушился в России монархический строй?»⁹⁵ Ильин мучительно ищет ответ на этот вопрос. Он видел его в *разрушении монархического правосознания*, как на стороне *народа*, так и на стороне самого *царя*, *позволившего себе отречься от трона*, в *отсутствии партии*, которая бы подняла знамя в защиту самодержавия и пр. Но, думается, что более адекватный ответ на этот вопрос дает Н.А.Бердяев. В работе «Истоки и смысл русского коммунизма» он пишет: «Разложение имперской России началось давно. Ко времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался, выдохся. Война dokonчила процесс разложения. Нельзя даже сказать, что февральская революция свергла монархию в России, монархия в России сама пала, ее никто не защищал, она не имела сторонников». И как вывод заключает: «Монархия в прошлом играла и положительную роль в русской истории, она имела заслуги. Но эта роль была давно изжита»⁹⁶. Короче, монархический строй в России не был «сокрушен», он пал, потому что *полностью исчерпал себя*.

II. РУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ КАК ТИП СОЦИАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Глава 1. Философские основы и особенности утопического моделирования

1.1. Место утопии в социальном моделировании

Социальное моделирование по типу «Утопии» имеет свою историю, уходя истоками к классическим в этом жанре сочинениям Платона («Государство»)⁹⁷, утопистов христианского коммунизма, мыслителей Нового времени («Утопия» Т.Мора, «Город Солнца» Т.Кампанеллы, «История северамбов» У.Вераса), французских социалистов-утопистов XVIII века («Завещание» Ж. Мелье, «Базилиада или о крушении плавучих островов» Морелли, «О законодательстве» Г.Мабли), наконец, к учениям представителей утопического социализма начала XIX века (К.А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна). В этом ряду русская социальная утопия, сначала находившая выражение в народных песнях, сказках, преданиях, позже — в жанре утопического романа (Т.М.Херасков, Ф.И.Дмитриев-Мамонов, В.А.Левшин, М.М.Щербатов, М.Д.Чулков, Ф.В.Булгарин, А.Ф.Вельтман), в форме философских изысканий (Н.А.Радищев, П.Я.Чаадаев), разнообразных социальных и политических проектов (П.И.Пестель), занимает свое определенное место. Мы не будем останавливаться на анализе этих сочинений: во-первых, они достаточно хорошо исследованы⁹⁸, а во-вторых, и это главное, собственный наш интерес лежит в иной плоскости и другом историческом времени, а именно: русская социалистическая утопия в ее противостоя-

нии либеральной и консервативной мысли России середины – конца XIX века. Целесообразность и правомерность такой постановки проблемы, думаем, выявятся в ходе ее последующего анализа. Но ему мы предварим рассмотрение следующих двух, имеющих для нас методологическое значение, вопросов. *Первый*: какое место занимает утопическое моделирование в философии истории? *Второй*: какова специфика русской утопической мысли первой половины XIX века?

Напомним, что понятие утопии берет начало от сочинения Томаса Мора «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (1516), которая была скорее интеллектуальным развлечением ученого-гуманиста, нежели философским обоснованием социального идеала, и уж тем более не была программой каких-то социальных преобразований. У Мора, как известно, оказалось немало подражателей среди мыслителей самого разного профиля⁹⁹. Все они «рекрутировались» из тех, кого не устраивал существующий порядок вещей и который поэтому подвергался критике. И очень скоро название моровского счастливого острова стало нарицательным («место, которого нет»). Более того, с ним стало связываться особое отношение к действительности и ее осознание, а еще через некоторое время понятие утопии приобрело «статус» своеобразного способа социального прогнозирования, специфического типа философствования по поводу развития общества в направлении его совершенствования, т.е. по пути социального прогресса.

Когда складывается такой тип сознания? Исторически он появляется, как только человек становится способен к критическому осмыслению мира, в котором живет, «когда в человеческом сознании разверзается пропасть между миром, каков он есть, и миром, который можно вообразить. Возможность Утопии дана со способностью к выбору», — так определяет гносеологические и соци-

альные корни утопического сознания современный его исследователь Е. Шацкий¹⁰⁰. В любое историческое время, может быть только за исключением Античности, утопист — это человек, «охваченный сознанием ужасных несовершенств современного ему государственного устройства и социального порядка, преисполненный недовольством и даже ненавистью к ним, жалостью к тем, кто страдает от них»¹⁰¹. Сначала Утопия выступала как ирреальное воплощение мечты о лучшей жизни, позднее она вбирает в себя черты созданного критическим разумом общественного идеала, а еще позднее — и способы его реализации, приобретая характер своеобразного социального моделирования.

Попытки построения новой социальной реальности всякий раз совпадали со временем кризисных ситуаций, когда социальное зло становилось очевидным и расценивалось определенной частью общества как подлежащее уничтожению, с периодами радикальных социально-политических и культурных сдвигов. Утопии, как правило, появлялись в смутные времена. Эта связь настолько очевидна, что не раз вызвала у исследователей примеры исторических параллелей: «Утопия» Мора появилась за год до начала лютеровских проповедей, «Базилиада» Морелли упредила на несколько лет Французскую революцию, «Путешествие в Икарию» Кабе было своеобразным буре-вестником революции 1848 года. Утопию стимулируют и первые постреволюционные годы. В это время на передний план часто выдвигаются проекты, имеющие по сути утопический характер: достаточно вспомнить утопии нашего недалекого прошлого, связанные с желанием скорейшего преобразования социалистической экономики в капиталистическую — за 100, за 300, за 500 и т.д. дней! Хотя, разумеется, замечаемая связь не всегда бывала однозначной и прозрачной, как это могло казаться в отдельных случаях.

Таким образом, Утопия — это тип сознания, которое не находится в согласии с бытием, и в этом смысле трансцендентное по отношению к нему: оно не может быть реализовано в существующих условиях, более того, в этих условиях невозможно действовать в соответствии с этим сознанием. Важно, что несогласие утописта с действительностью носит тотальный характер в том смысле, что он думает не о замене каких-то «плохих» элементов действительности «хорошими», а о коренной замене всего положения вещей. Как замечает Е.Шацкий, в эпоху господства свечей утопист думает о всеобщей электрификации, тогда как другие изобретают керосиновую лампу. Поэтому «ценность всякой утопии бывает по преимуществу отрицательной, т.е. заключается в критике и протесте против существующего уклада отношений»¹⁰². Но в качестве сопутствующего этой критике способа проектирования социального идеала она несет огромный позитивный заряд, представляя собой необходимый и всеобщий элемент социального творчества в соответствии с выработанными человечеством нормативными ценностями, выражая общую для всех времен направленность человеческих исканий и ожиданий.

Этой общей направленностью является неискоренимая вера человека в возможность идеального миропорядка, неистребимое стремление к счастью, благополучию, справедливости. Как образно определил один из ее исследователей А.Свентховский, все утопии «подобны стае пролетающих над землей птиц, которые — какова бы ни была их окраска и формы — все стремятся из холодных мест в теплую страну будущего»¹⁰³. Эта «теплая страна будущего» соответствует человеческим представлениям об идеальном государственном устройстве. И неважно, каковы принципы этого устройства — скажем, полная или частичная собственность на землю и средства производства, политическая демократия или аристократическая республика, — важно, что в любом случае

моделирование государственного устройства осуществляется на основе *критического отталкивания от существующего положения вещей*, от существующих социальных институтов, и прежде всего главных из них — собственности, общественного производства, власти, школы, семьи.

Поэтому каждая из создаваемых Утопий была своеобразным показателем состояния общественной мысли, с точки зрения достигнутого ею уровня критического осознания существующего положения вещей и способности противопоставить ему идеал, призванный «разбудить» массы, говоря современным языком, для гражданского неповиновения. В этом смысле утопии являются, «с одной стороны, симптомами кризиса данной общественной организации, а с другой — признаками того, что в ней самой имеются силы, способные выйти за ее рамки, хотя они еще не осознают, как это может произойти»¹⁰⁴. Правда, утопист часто не знает средств осуществления социального идеала, может ошибаться в вынесенном им диагнозе, в определении «социального недуга» и соответственно в предлагаемых формах организации общественной жизни, но он точно знает, что существующий порядок вещей должен быть изменен, и он знает ту общую «мерку», в соответствии с которой следует осуществлять изменения, а главное понять связь прошлого, настоящего и будущего. Знает как бы а priori в том смысле, что эта «мерка» играет для него роль всеобщего принципа разумной цели, позволяющего встать на общечеловеческую точку зрения и делающего *возможным* моделирование будущего. (Утопия тем и отличается от мечты, что в ее основании лежат некоторые общие принципы «построения» мира в соответствии со всеобщим «нормативом».) Этим «нормативом» выступает защищаемый утопистом общественный идеал, который он «прикладывает» к действительности, имея в виду ее развитие в направлении к совершенствованию. Идеал выступает не

просто как факт достижимого будущего, но как имманентная цель истории — ведь ради него, по сути, и совершается последняя в представлении утописта. «Утопист обязан мыслить и толковать историю, — писал Г.В.Флоровский, — в категориях телеологических — как развитие, как развертывание врожденных и предзаложенных задатков, как прорастание и созревание зерна, как самоосуществление некоего «плана» или «энтелехии»¹⁰⁵.

Но, несмотря на «априорный характер» (в отмеченном нами смысле), общественный идеал «скроен» из элементов человеческого опыта. И потому всякая утопия уходит своими корнями в существующую реальность, в существующие общественные отношения и связи людей. Утопические ценности детерминируются в конечном счете реальными потребностями людей, хотя и по принципу «компенсации». В основе Утопии всегда лежит «нечто», что выражает чьи-то актуальные интересы и устремления. Поэтому история Утопии отражает условия жизни и социальные чаяния людей разных исторических эпох.

Вот почему Утопия во многом есть не только предвестница будущего, но своеобразное реконструирование настоящего. Ведь свой материал она заимствует из действительности, придавая ему иные формы, и поэтому структура утопических идеалов отражает структуру формирующихся в обществе приоритетов и ценностей, исторически развивающихся потребностей. В известном смысле утопическое моделирование — это своеобразное «интеллектуальное обновление» действительности, т.е. настоящего: в нем усиливается (или отрицается) то, что имеется (в том или ином виде) в реальной жизни. Нельзя не согласиться с утверждением Э.Я.Баталова, что «любая социальная утопия есть отраженная проекция настоящего в прошлом или будущем, в котором устранены все «минусы» и усилены все «плюсы» существующего общества. Утопия как бы удваивает мир, надстраивая над реальным миром ирреальный мир мечты»¹⁰⁶. Иными сло-

вами, познавательная, практическая, историческая значимость утопии связана с провоцированием общественного сознания на неприятие действительности (хотя бы на уровне осознания проблематичности существующего положения вещей), на усомнение в ее неизменности и «абсолютности» и в этой связи — с попытками моделирования другой реальности.

Для характеристики утопии как особого типа осмысления действительности не менее важен и другой момент — ее устремление к построению *социального идеала*, адекватного природе человека. И в этой своей функции Утопия является одним из наиболее ярких элементов духовного мира человека. Именно она удерживает его на высоте одновременно и мысли, и чувства. «Обществу, неспособному создавать утопии и воодушевляться ими, угрожает склероз и разрушение», — говорил Э.М.Сьоран.

Утопия по большей части — есть *предвосхищение*, основанием которого является идея целесообразного развития. С одной стороны, это ведет к своеобразному логическому провиденциализму: в истории предопределен круг ее возможных превращений по пути к идеальному состоянию. Но, с другой стороны, именно в силу заложенного в Утопии элемента провиденциализма она вполне может оказаться *«преждевременной истиной»* (Ламартин). И потому не редкость, когда некоторые утопические идеи сегодняшнего дня становятся действительностью завтрашнего дня. Связанный с Утопией поиск будущего нередко помогает *высветить истину*. При этом неистинность самой утопии, о которой часто можно услышать, тоже весьма относительна: все зависит от того, насколько выявленные ею тенденции адекватны объективной ситуации и заложенным в последней интенциям к развитию. (Правда, это решает, увы, только время.)

К.Манхейм, разработавший в 20-х годах одну из самых популярных и признанных сегодня концепций утопии, вообще «наделял правом» именоваться таковой

только те «фантазии», которые связаны с объективными тенденциям, т.е. могут приблизить действительность к человеческим представлениям о должном. (Этим утопия, по его мнению, отличается от идеологии, обреченной на вечное пребывание в сфере фикции.) Утопичным является, по его мнению, лишь то трансцендентное по отношению к бытию сознание, которое переходит в действие и тем «частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей»¹⁰⁷.

Иными словами, «чуждость», несоответствие действительности — это лишь общая, исходная, но далеко не полная характеристика утопического сознания, и соответственно необходимое, но недостаточное условие Утопии. В этой идее лежит та глубокая мысль, что Утопия, трансцендентная исторически-конкретному, оказывает на него свое воздействие, вступает в социально-политические контакты с различными общественными слоями и группами, движениями и партиями. Вера в осуществление того идеального мира, о котором трактует Утопия, способна охватывать массы людей, направляя и стимулируя их социально-политическую активность. И в этом смысле Утопия, повторяем, может приобретать значение реальной силы, *оказывать преобразующее воздействие* на бытие людей.

Есть еще одна важная черта утопического сознания. Поскольку «кружево мечты» утопии сплетается из «нитей действительности», постольку связанное с ней моделирование будущего есть своеобразный эпифеномен реформаторства. Утопия — мать всех реформ, считал Свентоховский. Может, это и несколько завышенная оценка роли утопического моделирования, но бесспорно, что, будоража мысль, погружая человека в состояние неудовлетворенности и поиска лучших форм социальной организации, она побуждает (а когда и вынуждает!) к отысканию способов преобразования, реконструкции действительности. Существо Утопии связано с той человеческой особенностью, что сознание постоянно склонно, «чувствует себя

вынужденным» (Фойгот) *строить планы*. Это свойство в равной степени связано как с *жаждой совершенства* жизненных форм с *потребностью преобразования* мира в этом направлении, так и с желанием, свойственным человеческой природе, «заглянуть в будущее» и тем самым навести мосты между ним и настоящим, приблизить будущее к собственному, земному бытию, хотя бы в фантастических грезах. Поэтому даже в случае, когда утопический проект очень далек от действительности, Утопия выступает как поиск путей решения существующих социальных задач.

Вот почему во всех реформаторских движениях неизбежно присутствует утопический элемент. И не только потому, что любой проект как идеальная модель содержит элемент желаемого, осуществление которого может и не обеспечивать предлагаемая реформа, но и потому, что моделирование социальной реальности с необходимостью сопряжено с идеализацией, отрывом от действительности, иными словами, с погружением, в той или в иной степени, сознательно или бессознательно для его субъекта, в утопию. Между «практическим» и «теоретическим» разумом есть «зазор». В этом объективно заложенном, «всегдашнем», постоянном несоответствии сознательно планируемых изменений результатам реформаторской деятельности есть «своя правда»: силу инерции чаще всего и быстрее преодолевает не разум, а желание получить скорейший результат, стремление человека выдавать желаемое за действительное. Чаще всего именно утопический элемент реформ и мобилизует массы, «обвораживая» их иллюзией близости и достижимости планируемого. Приведем в этой связи следующее высказывание Фойгота: «Во всех реформаторских движениях имеется утопический элемент: кажется, что без этого элемента они не могли бы иметь успеха. Если где-нибудь соединяется большое количество людей для совместного политического действия, то сейчас же являет-

ся необходимость развить пред ними знамя, которое бы указывало им какую-нибудь утопию, скрытую за их ближайшими задачами. Везде, где не играют роли исключительно практические, эгоистические мотивы, силу инерции преодолевает не то, что возможно, но то, чего невозможно достичь. Такова особенность человеческой природы»¹⁰⁸. Кажется, что сказано сегодня, а не почти столет назад, и именно о нас, нашей российской перестроенной ситуации.

Ну, конечно, утописты — это не реформаторы, ибо интенцией утопического сознания, как мы отмечали, является стремление к коренному переделыванию мира. Поэтому утопист не приемлет никаких форм социального компромисса, и в рядах реформаторов он всегда чувствует себя чуждым элементом («белой вороной»). Он — максималист, и это приближает его скорее к революционеру, нежели к реформатору. (Это становится нередко причиной некоторых политических коллизий и «недопониманий», особенно в ситуациях выбора требований, программ, лидеров.) Но реформаторы очень часто выступают утопистами. И это тоже создает свои коллизии.

Для понимания сути утопического моделирования важно иметь в виду и ту его особенность, что оно постулирует факт не только расхождения «должного» и «действительного», но — и это, наверное, еще более важно — возможность исчезновения этого расхождения в будущем путем «приравнивания» идеала (ценности) факту эмпирической истории (достигаемому государственному устройству). Флоровский, обращая внимание на этот момент утопизма, с одной стороны, обвинял его в недозволенном «этическом эмпиризме», результатом которого становилось, по его мнению, выпадение категории «ценности» как самозначимого начала: «идеальная действительность» (или «действительность идеала») приравнивается и соподчиняется «естественной» действительности в пределах одного и того же плоского плана эмпирического бытия»¹⁰⁹.

А это имеет существенную «издержку»: из утопических грез об «идеальном строе», в котором человек мечтает жить, вырастает вера его в самодовлеющий характер социальных форм, социальных институтов, в то, что можно назвать «институционализмом». Все внимание сосредоточивается на организационных формах в отвлечении от того, какие в этих формах будут жить люди и чем будет вдохновляться их деятельность. В этой подспудной вере человека в самоценность и преобразующую силу организационных форм жизни, с которой Флоровский связывал «верхний пласт» утопического сознания, он усматривал соблазн утопизма¹¹⁰. Не случайно, по его мнению, Вл. Соловьев в своем прозорливом предчувствии изобразил Антихриста как величайшего и дерзкого утописта. С другой стороны, утверждение возможности идеала как части эмпирической действительности, как состояния исторического мира, имеет «свою прикровенную правду» — мысль о предельной действенности добра как силы: «...этический натурализм хочет быть этикой воли, а не только регистрирующей этикой оценки. Он мечтает о воплощении совершенства, преодолевает таким образом отрешенный морализм этики формального долга»¹¹¹.

Итак, утопизм есть необходимая сторона любого социального моделирования. В утопические мечтания уводит человеческую мысль не только необузданная фантазия отдельных фанатиков, но и «какая-то роковая последовательность самой трезвой мысли, раз ею приняты некоторые основоположения, раз она покоится на определенном опыте. Утопических выводов требует какая-то изначальная аксиома»¹¹². Мы возьмем на себя смелость утверждать, что эта аксиома связана со свойственной человеческому мировоззрению *историософским видением действительности*: со стремлением увязать «концы» и «начала» исторического бытия человека, увидеть в потоке исторических событий сокрытые от глаза цель и смысл, связать этот смысл с общественным идеалом,

вынести свой суд над историей построением такого идеала, поверить в поступательное (прогрессивное) движение человеческой цивилизации. Утопия как тип мышления множеством зримых и невидимых нитей связана именно с таким осмыслением человеческого бытия. Она рождается из потребности ответить на вопрос о смысле жизни и историческом назначении человека. Это делает утопическое сознание особым типом мировоззрения — мировоззрением, «цементирующим» основанием которого является интерпретация исторического процесса с позиций «вечного» вопроса о будущем человечества. Именно в силу этого «великие социальные утопии определяют весь стиль мышления, открывают новые целостные интеллектуальные перспективы, вносят в историю смысл»¹¹³.

Историософское мировоззрение всегда одержимо потребностью задуматься о *конечной цели* истории и ответить на вопрос, в чем ее смысл и как она реализуется. Отвечая этой потребности, оно иногда просто предлагает человечеству некоторый общественный идеал в качестве «путеводной звезды», дабы то не заблудилось в лабиринтах истории. А иногда предлагает и способы его осуществления. Какой тип мировоззрения в таких случаях можно считать более (или менее) утопичным? Фойгот считает подлинными утопистами приверженцев второго. Мэмфорд, подразделяя утопии на утопии «бегства или компенсации» и утопии «реконструкции», признает оба типа мировоззрения утопическими. Мангейм, напомним, утопией считал только то сознание, которое способно привести к уничтожению существующего порядка вещей.

Нам представляется спор о «подлинности» и «неподлинности» утопий по отмеченному принципу несущественным, поскольку для характеристики утопизма как мировоззрения важно, думается, другое — *каким образом* происходит конструирование идеала. Если в соответствии с объективной необходимостью, т.е. идеал имеет

законное происхождение, то мы имеем дело с рациональным сознанием. Если конструирование осуществляется «по свободе воображения» — то уже с утопическим сознанием, хотя моделирование будущего, как уже отмечалось, может при этом опираться на существующую реальность. Другими словами, важна логика построения идеала: логика утописта — это логика интеллектуального произвола, продиктованная стремлением не столько сохранить все преимущества, сколько устранить все недостатки в реконструированной реальности. («Разрушим до основания — а затем...»). Принцип, понятный своей максималистской простотой, а главное, не раз опробованный человечеством.)

Но «разлагая мир на «позитивные» и «негативные» элементы и тем самым разрушая в воображении его целостную картину, утопическое сознание одновременно испытывает потребность проделать обратную работу»¹¹⁴. И проделывает ее, замещая вытесненные негативные элементы сконструированными позитивными. Правда, смоделированная таким образом, т.е. произвольно, по логике фантазии, реальность начинает жить по своим собственным, уже не столько рациональным, сколько иррациональным, законам — или вообще без них, *застыв в некоторой статике*.

Но тогда возникает вопрос: Утопия «убивает» развитие, а соответственно и будущее? Ведь имеет смысл не как результат движения, а как само движение. (Горизонт, который, приближаясь, постоянно отдаляется от нас.) В определенном смысле — да. «Самая ужасная тирания никогда не стремилась к такому безусловному задержанию прогресса, как многие утопии, намеревавшиеся стереть всякую тиранию с лица земли», — не сомневался Свентоховский¹¹⁵. «Общественный утопизм есть выражение веры в завершенность, в конец прогресса», — утверждал Флоровский¹¹⁶. Но тот же Флоровский добавлял: «То именно здесь и существенно, что течение истори-

ческого времени, наоборот, мыслится при этом бесконечным, неопределенно и неограниченно продолжаемым. «История» не кончается, кончается только прогресс, т.е. нарастающее обогащение, улучшение и совершенствование жизни и быта»¹¹⁷. Это с необходимостью порождает идею о мнимой и подлинной истории, об истории и предыстории — ибо утопист должен признать разнородность двух отрезков исторического времени. Критерии же различения «двух историй» весьма субъективны, ведь они связаны только с содержанием общественного идеала.

Но ведь и сама история как человеческий процесс есть не что иное, как полагание и реализация людьми определенных целей, т.е. не свободна от субъективности. Поэтому можно сказать и так, что реализация старой Утопии необходимо породит новую Утопию, и в этом смысле движение (и мысли, и истории) по принципу совершенствования не кончится. Развитие действительности вызовет к жизни новый общественный идеал. Понятие прогресса трансформируется, его критерии со временем сдвинутся в сторону социокультурных предпочтений. Во всяком случае, есть основания для таких предположения и соответственно для веры в появление Новой Утопии. — В центре ее будет не общественное устройство, не система организации общественной жизни, а человек, условия его свободы и всестороннего развития. Еще в 1906 году, предугадывая черты такой Утопии, Г.Уэллс писал: «Для классических утопистов свобода ничего не представляла ценного. Они просто-напросто считали добродетель и счастье совершенно абсолютными от свободы и смотрели на них, как на нечто более важное. Но современная мысль, отстаивающая значение личности и ее прав, не может не ценить и не ставить выше всего свободу»¹¹⁸. В ситуации достижения материального благополучия и социального равенства появится потребность в новых «добродетелях», и тогда

появится Новая Утопия, важнейшей составляющей которой станет рекомендация — «как гарантировать свободу личности, не нарушая прав общества, обеспечивающего ему материальный достаток?».

Утопии, таким образом, предстоит стать, как пишет Э.Я.Баталов, не желаемым состоянием общества, а желаемым состоянием человеческого духа. Заметим, однако, что это — задача еще более сложная. Человеческой фантазии «сподручнее» в качестве способа моделирования работа над общественными структурами. К тому же «моделирование человека» подстерегает множество ловушек, главная из них — реальность попасть в тупики тоталитаризма, встать на путь обоснования регламентирующих норм — и для свободы, и для развития личности. К тому же всякая утопия к этому располагает, ибо в ней присутствует элемент безжизненности, схематизма, обусловленный ее трансцендентностью по отношению к бытию. Поэтому утопические построения, рекомендации, касаются ли они социальных институтов, связаны ли они с видением самого человека — всегда в известной мере есть навязывание ограничительных рамок. Ни один идеал не может стать плотью, не подвергаясь неожиданным и нежелательным метаморфозам. Поэтому новая Утопия столкнется, без сомнения, со старыми проблемами.

Поэтому можно сказать, что Утопия — это вечный спутник, своеобразный архетип духовного творчества. И потому Утопий будет столько, сколько человеческих поколений. Но каждому поколению суждено создавать свой Остров Мечты, и так будет продолжаться очень долго — «до тех пор, пока, наконец, старый мир не превратится в законное мировое государство, в громадное, прекрасное и полезное государство, которое только потому не будет Утопией, что будет этим миром»¹¹⁹. Добавим, что такой мир — это тоже Утопия.

1.2. Источники и особенности русской социалистической Утопии

Первые буржуазные революции существенно изменили содержание Утопии: из антифеодальной она превращается в антикапиталистическую, правда соединяясь с социалистической идеей, появление утопического социализма не сильно изменило существо общественного идеала — он по-прежнему связывался с общественным устройством, которое предоставляет всем равные возможности для счастья, т.е. для удовлетворения разумных потребностей. «Лучшее общественное устройство то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее счастливыми, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших потребностей», — писал классик утопического социализма К.А.Сен-Симон¹²⁰. Отличие было в другом — в неприятии буржуазной цивилизации.

Разнообразные различия, характеризовавшие социалистическую мысль, имели один общий знаменатель — *позитивную антибуржуазность*. Критика капитализма велась с точки зрения такого идеального общества, где не только не будет бедных и богатых, эксплуататоров и эксплуатируемых, но где реальной станет свобода. Объективные социально-экономические основания социальной гармонии связывались с необходимым уровнем труда и общественного производства, но эти основания социалистическая утопия выводила из капиталистической цивилизации, ее научных и технических достижений. «Золотой век» виделся впереди, как результат преодоления капитализма. Гарантии Будущего усматривались в закономерном характере наступательного хода истории, обусловленного научно-техническим прогрессом, модель которого соотносилась с материальными и духовными достижениями буржуазного общества. Поиски способов приближения будущего сопровожда-

лись попытками выявления тенденций, свидетельствующих о закономерном и одновременно преходящем характере капитализма. Новый поворот утопического сознания нашел воплощение в сенсимонизме, концептуально оформившемся к концу 20-х годов XIX века¹²¹. Его исходное основание образовали следующие идеи.

Во-первых, мысль о прогрессивном значении овладения человечеством силами природы и в этой связи позитивная оценка технических и организационных достижений капитализма, их значения для дальнейшего развития человечества. Будущее общество (Всемирная ассоциация трудящихся) представало развитым в научном и промышленном отношении, рационально использующим достижения науки и техники, прежде всего — природных ресурсов Земли. Но важнейшим фактором, обеспечивающим «победу» человечества над природой, признавалась адекватная прогрессу науки и техники социальная организация общественной жизни. В качестве таковой последняя управляется Высшей духовной властью, обеспечивающей согласие внутри общества. Поэтому при всей значимости индустрии в прогрессивном движении человечества «промышленный ряд вторичен по отношению к нравственному развитию».

Во-вторых, в сенсимонизме была «озвучена» принципиально новая идея: в основе социальной жизни людей лежат связи, определяемые фактом совместной деятельности по поводу производства средств жизни. Человечество — это большая мастерская, в которой возникающие в процессе жизнедеятельности отношения определяются выполняемыми людьми функциями, сложившимися в соответствии с требованиями научной организации производства. Цель этой «мастерской» — не эксплуатация одних другими, а господство всех над природой. В так организованном обществе каждый работает по способностям и получает «по его делам». Этот принцип лежит в основе как общественного согласия, так и гармонизации личных и общественных интересов.

В-третьих, предлагалась новая постановка вопроса о собственности: проблема собственности выступила разведенной на вопрос о материальном достатке (владение произведенным продуктом) и вопрос о социальном равенстве и свободе (владение средствами производства и орудиями труда). «Наиболее важный вопрос, подлежащий разрешению, — это вопрос о том, как должна быть организована собственность для наибольшего благополучия всего общества в отношении свободы и в отношении богатства», — утверждал Сен-Симон¹²².

В-четвертых, в новом учении были предложены неожиданные рекомендации относительно будущего государственного устройства, Суть этих рекомендаций сводилась к следующему: целесообразнее искать способы не совершенствования, а *преодоления* государственного устройства по пути перерастания его из аппарата насилия в орган управления общественным производством и трудом.

Особое внимание привлекала лежащая в основании новой Утопии *историческая посылка*, обосновывающая связанный с ней тип социального моделирования. Посылка состояла в признании объективности исторического процесса. «Все, что было в прошлом, и все, что произойдет в будущем, образует один ряд, первые члены которого составляют прошлое, а последние — будущее»¹²³. Прошлое и будущее связывалось как причина и следствие, само же историческое развитие толковалось как движение по пути прогресса. Это вносило в обоснование социалистической идеи принцип историзма и обращало к философии истории. Можно сказать, что философия истории была основанием всей системы сенсимонизма. Она ориентировала на поиски цели истории, начала и конца исторического процесса, на попытки «наведения мостов» между прошлым и настоящим, настоящим и будущим. Она же обосновывала неизбежность социализма, связывала его с таким поворотом в развитии человечества, который будет означать трансформа-

цию капитализма в новое общество. Именно обращенность к философии истории, которая многими оценивалась как «высший предмет нашего времени», вызывала, по свидетельству А.И.Герцена и Н.П.Огарева, интерес к учению.

Установка на признание естественно-необходимого характера исторического процесса объясняла важнейший исторический вопрос о революциях вообще и в частности интерпретацию Французской революции. Последняя рассматривалась как звено в процессе чередований закономерно наступающих научных и политических революций. Поэтому, не принимая Французскую революцию как явление разрушительное, тяжело отразившееся прежде всего на состоянии промышленности, хозяйства страны, Сен-Симон и его последователи не отрицали ее *исторической заданности*. Революция была обусловлена тем, что французское общество обогнало в своем развитии политические формы. «Переворот в политической системе произошел по той единственной причине, что состояние общества, которому соответствовал старый политический строй, совершенно изменилось по существу»¹²⁴. Революционный взрыв мог бы и не произойти — в случае, если бы это несоответствие вовремя было устранено. Но такого не случилось, и революция обрушилась на французское общество со всей разрушительной силой естественной необходимости. Человек волен и способен предотвращать революционные взрывы, своевременно постигая взрывоопасную ситуацию. Призвание мыслителя (утописта) состоит в том, чтобы предвосхищать, а тем самым предотвращать социальный кризис. «Ни больших усилий ума, ни многих трудов не требуется для того, чтобы изобрести бунтарское средство, но вопрос представляет гораздо больше трудностей, когда ищут законного средства. Мы усердно занимаемся именно этим вопросом», — писал Сен-Симон¹²⁵.

«Законное средство» — это прежде всего доводы разума, убеждение масс и правительства в целесообразности перемен. Насильственные средства годятся для того,

чтобы «низвергать и разрушать... Мирные средства — единственные, какие можно употреблять в целях созидательных, творческих»¹²⁶. Такая постановка вопроса заставляла задуматься: революция или реформы? «Старый, как мир, спор», — скажем мы сегодня. Да, так оно и есть. Но важно, чтобы в каждое историческое время нашелся мыслитель, способный заставить задуматься еще раз над его простым смыслом, а именно: *не следует соединять идею революции с идеей свободы*. В первой половине прошлого века такими мыслителями стали К.А.Сен-Симон во Франции и А.И.Герцен и Н.П.Огарев в России.

В России социалистическая мысль появляется как результат критического осмысления опыта Французской революции и собственного политического кризиса, который страна переживала после поражения восстания декабристов. По времени, таким образом, она возникает позже западных социалистических учений, которые уже по одному этому не могли не стать ее теоретическим источником. Однако это не дает оснований для упреков в адрес русской социалистической Утопии в подражательстве. Утопизм имел глубокую и давнюю традицию в общественной мысли России. Он, как совершенно справедливо отмечает Е.Черткова, «проходит сквозь всю русскую философию», но он развивался по своим особым канонам — под знаком борьбы с западноевропейским «рацио»¹²⁷. Поэтому у него сильны связи с религиозным мирозерцанием, и прежде всего с православием.

Русский утопический социализм выпадает из этой парадигмы — в нем сильно позитивистское начало и атеизм, и в этом плане его можно даже расценивать как разрыв с традицией. Но и в этой, обретенной в XIX веке, форме русская Утопия несла в себе свою российскую черту, связанную с уходящим к ее истокам смешением идеала и факта, где роль первого играла вера в прогресс, а роль второго упования на русскую общину, заземленные на борьбу за справедливость.

Немаловажное значение для формирования русской социалистической Утопии имел и тот факт, что она появляется в России после Французской революции, но до буржуазных преобразований российского общества. Поэтому в ней одновременно с собственно социалистическими идеями пульсировали те, которых не знал западный социализм. Прежде всего — это требование отмены крепостного права и протест против царского самодержавия. По этой же причине Социалистическая Утопия была внутренне связана с демократическим движением, которое по своим ориентациям далеко не всегда имело четко выраженную антибуржуазную направленность. По очень многим параметрам она может быть расценена как крестьянская Утопия и не только из-за обращенности к крестьянству как классу, способному на те преобразования, которые связывались с социалистическим идеалом, не только из-за своих иллюзий в отношении исторической роли крестьянской общины, а и по своей исходной посылке, в соответствии с которой реальность социализма основывалась на идее возможного «перескока» страны из одного исторического времени в другое, минуя обусловленный объективными законами развития человеческой цивилизации этап капитализма.

Иными словами, социально-экономические и политические реалии России оказали достаточно существенное влияние на содержание и характер социалистической Утопии. И уже один этот факт не позволяет согласиться с теми, кто склонен отказывать ей в оригинальности и собственной значимости в мировой истории социалистических идей. Главную роль в ее формировании сыграли интеллектуальные традиции отечественной общественной мысли.

В этой связи прежде всего следует отметить очевидную философичность русской общественной мысли. В ней повседневные вопросы жизни всегда сгущаются в мировоззренческие, а философская рефлексия, по выражению Г.В.Флоровского, является ее «неодолимой страстью».

Русская общественная мысль развивалась под знаком напряженного интереса к проблемам всеобщих начал человеческого бытия, смысла и цели истории и одновременно с явным тяготением к вопросам, очевидно заземленным, связанным с жизнью людей в исторически конкретном времени и в исторически конкретном обществе. Не случайно одной из форм ее существования еще в XVII веке стала философская публицистика, выступавшая своеобразным посредником между научным философским мышлением и практическими жизненными вопросами. «В России наиболее глубокие и значительные мысли и идеи, — писал С.Л.Франк, — были высказаны не в систематических научных работах, а в литературной форме»¹²⁸. Иными словами, с одной стороны, философские идеи высказывались в жанре литературного творчества (П.Я.Чаадаев, И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, К.Н.Леонтьев, А.И.Герцен, Вл.Соловьев), с другой стороны, художественная литература была пронизана глубоким философским восприятием мира (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, В.В.Розанов).

В полной мере эта характеристика относится к русской Утопии. Идеи утопизма, можно сказать, были растворены во всей художественной литературе, нашли отражение в творчестве многих писателей, герои которых видят многочисленные Сны, погружающие их в состояние счастья, всеобщей любви и добра, переносящие их туда, где люди живут «по правде», постоянно ищут, «кому на Руси жить хорошо», «воскресают» для праведной жизни, верят в победу справедливости, а если и не верят, то все равно готовы, как герой Лескова, «писать по небу бумажными буквами о человеческих пороках, чтобы все ужаснулись того, что они делают».

Существенной особенностью русской общественной мысли является ее обращенность к теме человека, его судьбы, предназначения. Именно человек стоит в центре ее интеллектуальных исканий, а антропология явля-

ется одним из важнейших ее принципов. В этой связи отчетливо просматривается черта, побудившая Н.А.Бердяева признать, что «в России нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным», что творили не столько от «радости творческого бытия», сколько от «печалования и сострадания о неправде и рабстве человека»¹²⁹. Можно даже говорить об известном «панморализме» русской общественной мысли. При этом этический интерес просматривается не столько к теоретическим построениям, сколько к вопросам применения «этических схем» в жизни, т.е. к *обоснованию нравственности*. Более того, именно в этой плоскости лежит один из самых действенных истоков русского философствования: важно не только понять мир, но и постичь нравственный принцип мироздания с тем, чтобы преобразовать его и спасти себя в этой очищающей для него преобразующей деятельности.

Этот же принцип лежал в основе социалистического утопического моделирования. Нельзя не согласиться с Е.Чертковой, что культ человека и человечества — обязательный элемент русского утопического социализма¹³⁰. Создавая свое государство справедливости и благополучия, русские утописты размышляли не столько о его «обустройстве», сколько над способами, как «войти в будущее общество очищенными от зла». Тема «спасения человечества» была сквозной для русской философии, русской литературы и русской Утопии. Поэтому русская социалистическая Утопия более, чем западная, искала способы действования и находила их, начиная от критики существующего порядка вещей и призывов к самосовершенствованию, кончая «хождением в народ». Теоретическим руководством в обосновании таких действий для нее стало нашедшее отклик в русской философии учение о диалектике, предусматривавшее взгляд на мир как на постоянно изменяющуюся реальность, субъектом которой является познающий ее человек. Обращенность

к человеку (антропологизм) в соединении с признанием исторического развития (диалектикой) дала своеобразный сплав, которого не знала западноевропейская Утопия.

Для русской общественной мысли характерен, как называл эту черту С.Л. Франк, конкретный интуитивизм, связанный с особым пониманием истины, предусматривающим дополнение последней понятием *правды*. Истина толковалась не только в смысле тождества представлений и действительности, а и в смысле постижения истинного бытия, не только как познавательная категория, но одновременно как некоторая онтологическая сущность, важнейшая составляющая самой жизни. «Правда — истина на деле, — читаем у В.А. Даля, — истина во образе, во благе; справедливость, праведность, безгрешность». Для русского мыслителя понимание выступало в единстве с моральным сознанием, ценности и нормы которого были заземлены в бытии человека. Поэтому он всегда искал именно правду — как победу над ложью и несправедливостью. Отсюда его сострадательность и жалость к униженным и оскорбленным, отсюда гуманизм как главный вектор исторического развития общественной мысли во всех ее проявлениях.

Эта черта в полной мере характеризует и русское утопическое сознание. В соответствии с ней Будущее Общество виделось не только изобильным и привольным, но прежде всего *праведным*, — обществом, в котором люди живут «по правде»; в соответствии с которой приоритет в нем имели нравственные ценности, а путь нравственного совершенствования признавался одним из способов приближения счастливого и справедливого Будущего. «Главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться», — эта заповедь «смешного человека» Достоевского, сформулированная по замыслу автора как своеобразный нравственный противовес социалистическому идеалу, на первый взгляд может показаться более Анти-

утопией, нежели Утопией. Но в том-то и дело, что она связана с последней сущностно, в главном — уверенностью, что Нравственность (Добро) может изменить мир. (Кстати, этой уверенностью русский утопический идеал сильно отличался от западноевропейского как более трезво-делового взгляда на жизнь.)

Важно отметить и еще одну черту русской общественной мысли — черту, обусловленную ее пониманием задач познания. Последние в соответствии с трактовкой истины определялись из общего отношения человека к миру, т.е. не в духе примитивного практицизма, а в духе антропологизма, предполагающего «включенность познания в наше отношение к миру, в наше «действие» в нем. «В неразрывности теории и практики, отвлеченной мысли и жизни, иначе говоря, в идеале «целостности» заключается /.../ одно из главных вдохновений русской философской мысли», — писал В.В.Зеньковский¹³¹. Отсюда — постоянный интерес, обращенность к социальной проблематике под знаком вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?», которые по сути были взаимодополняющими сторонами одного вопроса: «как изменить существующий мир?». Социальное моделирование на эту тему — в какой бы форме оно ни осуществлялось, рациональной или утопической, постоянно сопрягалось с идеей общественного прогресса. Прогресс толковался как осуществление идеалов разумности, добра, справедливости. Его формула включала: «развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истинной справедливости»¹³². Теория прогресса позволяла понять историю как движение человечества не только от прошлого к настоящему, но и от настоящего к будущему. Но главное, она обосновывала активное (в сфере сознания) отношение человека к миру, поскольку исходила из признания его субъектом, способным вынести свой приговор происходящему и с учетом этого сделать не-

обходимый *исторический выбор*. Человек, конечно, детерминирован в своих действиях «естественным ходом событий», но он имеет «право нравственного суда» над неправдой истории, которое толкает его на противостояние «слепым силам исторического процесса». Теория прогресса, таким образом, с одной стороны, оправдывала в качестве правомерного и даже единственно верного субъективный метод социального моделирования (в соответствии с нравственными ценностями личности, ее представлениями о должном и отношении к сущему), а с другой стороны, обосновывала объективную природу общественного идеала как отвечающую закономерному развитию человечества по пути совершенствования, достижения добра и социальной гармонии.

Отечественная мысль, правда, в ее материалистическом варианте (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский, Н.И.Кареев) была буквально заражена «вирусом прогресса». Все «прогрессисты» так или иначе были защитниками социалистического идеала, а все социалисты-утописты исходили из идеи прогресса, находя в ней необходимое и достаточное, как считалось, философское оправдание социалистического идеала и теоретическое основание для социального моделирования. Устраивал и тот факт, что как будто бы был найден искомый секрет «наведения мостов» от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему. В качестве такового теория прогресса предлагала весьма понятную приверженцам социалистической Утопии *повседневную деятельность людей*, основанную на критическом отношении к действительности. (Именно повседневную — не героическую, не исторически значимую и даже не реформаторскую или революционную.) Основанием этой повседневной практики человека является *целеполагание*, связанное с его природными устремлениями к Будущему.

Приведем в этой связи концовку известного Четвертого сна Веры Павловны из романа Н.Г.Чернышевского: «...будущее светло и прекрасно. Любите его, стреми-

тесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего». Как видим, главный принцип моделирования будущего — «перенос» его черт в настоящее. В какой форме следует осуществлять перенос? Если следовать идеям романа, — организуя свою жизнь (работу, учебу, отдых, семейные отношения) по принципу нравственных устоев, которые характеризуют будущее общество.

Такая трактовка возможного способа приближения Будущего, правда, имела свой нравственный изъян — она утверждала *жертвенность* как принцип повседневной жизни. Отметим, что ни одной Западной Утопии он не был свойственен. В русском социалистическом сознании он высветился со всей полнотой и даже был доведен до крайних форм. Ибо, приняв за критерий прогресса счастье будущих поколений, социалистическая Утопия приносила в жертву ему судьбы живущих поколений, оправдывая, так сказать, исторический беспредел, когда «страдания одних» представляются «мостом к счастью других». Поэтому ответ, предложенный теорией прогресса и кажущийся на первый взгляд привлекательным, по сути своей нравственно ограничен и даже порочен, ибо в итоге одни поколения почему-то должны своими страданиями «унавозить будущую гармонию»¹³³.

Вся жизнь настоящего предстает «в страдательном залоге», как писал Флоровский, «в безличных предложениях, поскольку индивидуальное существование воспринимается как «служебное» в том смысле, что индивиды «служат прогрессу кораллового рифа», а мир индивидуализируется и развивается за счет гибели всякого особенного существования. «Ибо личное теряет самостоятельность, растворяясь в родовом. Отсюда именно это странное, поражающее слепой жестокостью равнодушие, с которой теоретики «рокового и непрерывного» прогрес-

са относятся к эмпирическому горю и страданию»¹³⁴. В общем в приведенной оценке Флоровский, конечно, тоже выразил максималистскую позицию, но в целом тенденция им бесспорно «схвачена». Хотя есть сомнение в другом — стоит ли понимание жертвенности как нравственной нормы связывать жестко именно с социалистическим сознанием может, оно есть факт более интеллигентского вообще, нежели социалистического в частности, сознания, и «феномену русского социализма» история отечественной мысли обязана не столько «самой себе», сколько «русской интеллигенции»?¹³⁵.

Немаловажное влияние на формирование специфики русской социалистической Утопии оказал совпавший по времени раскол общественной мысли на «славянофильство» и «западничество». Русский социализм с его обращенностью к крестьянской общине и одновременной ориентацией на сенсимонизм, а соответственно признанием некоторых общих законов истории и необходимости усвоения достижений капиталистической цивилизации, можно рассматривать как своеобразный компромисс, снятие противоречия между этими двумя линиями развития в русской культуре. Понятие социализма как бы сглаживало грань между ними, снимало крайности спорящих сторон, утверждая возможность соединения настоящего и будущего России с позитивными достижениями западноевропейского мира. Во всяком случае, именно в таком направлении пытались «одействовать» (Герцен) идею социализма социалисты 30—40-х годов.

Стремление к компромиссу имело и еще одно следствие — оно задавало линию противостояния двум типам сознания — консервативному и либеральному, создавало иллюзорную веру в возможность избежать ловушек крайнего национализма с его желанием сохранить российскую самобытность (главным образом в форме патриархальности) и неразумного подражания Западу («ев-

ропейничанию», по выражению К.Н.Леонтьева). Удалось ли это приверженцам социалистической Утопии? До какой-то степени и до какого-то времени — да. Во всяком случае, такой ответ представляется верным в отношении «русского социализма» Герцена и Огарева. Что же касается следующего, более позднего этапа развития социалистической Утопии, то необходимо сказать, что позже у него появились новые «точки роста» и новые линии противостояния, в свете которых проблема «Россия-Европа» утратила свою приоритетную значимость, а ее место заняли другие, тоже не менее актуальные для своего времени вопросы.

Глава 2. Русский общинный социализм — новый тип социальной утопии

2.1. Социалистическая утопия Герцена и Огарева

В определенном смысле первый шаг к утопическому социализму сделали еще декабристы, в своих идейных исканиях усомнившиеся не только в целесообразности царского самодержавия, но и Французской революции. Многие из них не только размышляли над ее опытом, «примеряя» ее результаты к российским реалиям, но и были знакомы, по свидетельству исследователей движения декабристов, с идеями социалистов-утопистов — К.А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна. Можно сказать, в 20-е годы если не учение, то некоторые из идей Сен-Симона и эксперименты Р.Оуэна в Нью-Ланарке, были, что называется, «на слуху» у прогрессивно настроенной русской общественности.

Поэтому, видимо, следует согласиться с Сакулиным, что, «взятое в общем», мировоззрение декабристов можно рассматривать как одну из предварительных ступеней к русскому социализму. И в таком случае первым опытом утопического моделирования в этом направлении вполне можно считать «Русскую Правду» П.И.Пестеля. Конечно, Пестель не был социалистом, но без осмысления опыта декабрьского восстания 1825 года и идей «Русской Правды» вряд ли бы возник тот интерес к идеям социализма, который обозначился в начале 30-х годов прошлого века. Революционная практика Европы, увлечения на этом фоне сочинениями Сен-Симона, Фурье, Оуэна, о чем мы уже говорили выше, сыграли немаловажную роль в этом увлечении. Однако идеи этих мыслителей должны были лечь в почву, способную их не только принять, но и «взрастить».

Такая почва во многом была подготовлена восстанием декабристов — их идейными исканиями и трагической гибелью. Поставленные ими вопросы волновали еще не одно поколение борцов за социальную гармонию, и не раз в поисках ответов на эти вопросы они обращались к декабристам как к своим духовным наставникам. В истории идей бывает куда важнее первому *задуматься* над тем или иным вопросом, чем первому найти на него правильный ответ. Пестель был из тех, кто первый задумался. Задумался о том главном, что через одно поколение определит направленность интеллектуальных и нравственных исканий: что несет человечеству капиталистическая цивилизация, есть ли она обязательный этап в развитии истории? И если — да, то какие *«социальные противовесы»* ее язвам может изобрести человечество, чтобы обезопасить себя от них.

Размышляя об историческом развитии Запада после прошумевших над ним революционных бурь, Пестель пришел к выводу об ограниченности утвердившегося на европейском пространстве общественного строя: «феодалная аристократия» сменилась «аристократией богатства». С последней он связывал еще большую порчу нравов, нежели та, что тревожила его в России. И потому, размышляя о том, как России, продвигаясь по пути прогресса, избежать господства «денежной аристократии», Пестель делает хотя и небольшой, но шаг навстречу социалистическому идеалу, предлагая в своем Проекте не только отмену крепостного права, но и новый аграрный закон — установление частично общественной собственности в форме общественного фонда земли¹³⁶. Эта мера, направленная на задачу обеспечения неимущих необходимым земельным наделом, по замыслу Пестеля, должна была создать экономическую преграду безраздельному господству капитализма и гарантировать гражданам политическую независимость.

Пестель был далек от отрицания в принципе права собственности, более того, он считал, что охрана последнего есть «священная обязанность правительства». Но предложенный им компромисс (институт частного и общественного владения землей) а, точнее, связанная с этим компромиссом *направленность* взглядов на социальное устройство приближала его к идеям социализма. Существенной компонентой этой направленности была ориентация на сохранение фактически крестьянской общины, общинного уклада деревни. — Наверное, ориентация по большей части была подсознательной, во всяком случае мало аргументированной, но она весьма примечательна для нашего рассмотрения вопроса. Это было в известной мере предвосхищение той постановки проблемы, которая определит суть «русского социализма» со временем.

Вот почему, повторяем, в оценке предложенного Пестелем Проекта социальных преобразований важна прежде всего общая *направленность предложенного поиска*. В этом смысле нельзя не согласиться с А.И.Володиным, отмечающим, что «не сама по себе идея общественного фонда земель приближает Пестеля к утопическому социализму, а весь ход его размышлений»¹³⁷. — «Ход размышлений», который скоро станет близким для социалистических построений Герцена и Огарева. А важнейшим в этом ходе размышлений является неприятие капиталистической цивилизации в свете оценки результатов европейских буржуазных революций, с одной стороны, и с другой стороны — особое видение социально-экономической природы русской крестьянской общины. Думаем, именно это и позволило впоследствии Герцену и Огареву назвать Пестеля первым социалистом России, — социалистом-утопистом, добавим мы, ибо утопизм «Русской Правды» очевиден. О ней даже можно сказать, что это — классическая утопия. Как проект социальных преобразований он не выражал адекватно существовавшего экономического положения страны, в

том числе крепостной системы, не учитывал социальные реалии России, которые определяли ее историческое движение на то время. А предлагаемые социальные меры по переустройству российского общества, и в частности его экономики, не принимали во внимание социально-экономическую реальность, в которой жила страна, не коррелировали с теми тенденциями, ставка на которые могла бы привести к желаемым и прогнозируемым изменениям. Можно с большой долей вероятности утверждать, что если бы намеченная Пестелем программа осуществилась, то вряд ли это обеспечило необходимые благоприятные условия для им же намеченных социально-политических преобразований¹³⁸. Но Слово было сказано, и оно стало Прологом к истории русского социализма.

Начало русской социалистической мысли связано с более поздним временем, а главное, с другим историческим поколением мыслителей, заявившим о себе в начале тридцатых годов XIX века. Это поколение стало свидетелем июльской революции 1830 года и польского восстания 1830—1831 гг., еще раз продемонстрировавшего реакционность русского самодержавия. К этому времени с оппозицией фактически было покончено. Политическая реакция Николая I давила все ростки свободомыслия, насаждала страх, равнодушие и доноительство. Но с середины 30-х годов ситуация приобрела новые черты.

С виду Россия продолжала стоять на месте, и даже как будто шла назад, но в сущности все принимало новый облик. Росло недовольство политикой царского самодержавия, заявили о себе новые молодые силы: появились многочисленные студенческие кружки (братьев В.М. и П.В.Критских, Н.П.Сунгурова, Н.В.Станкевича, А.И.Герцена и Н.П.Огарева), в которых обсуждались не только философские проблемы, но и политическая ситуация в Европе и в России. Зрело общественное убеждение, что хотя новых путей борьбы не видно, но и прежние вряд ли возможны. Получили резонанс идеи соци-

алистической утопии К.А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна. Образованная общественность вновь обращается к идеям Просвещения, сам термин становится ключевым понятием в философских осмыслениях прошлого и будущего страны. Просвещение рассматривается как необходимое духовное основание развития всей человеческой цивилизации, а в просветительской идеологии начинают видеть силу, способную образовать широкие народные массы, более того, образование и соответствующее ему воспитание рассматриваются в качестве фактора социально-политических преобразований страны.

Ориентация на идеи Просвещения вполне понятна: если на Западе прогремели уже буржуазные революции и Европа стояла на пороге первых пролетарских восстаний, то Россия во многом еще сохраняла феодальные (крепостнические) структуры. Поэтому передовая общественная мысль несла на себе черты дворянской идеологии, характеризовавшейся, с одной стороны, резкой критикой существующего порядка вещей, с другой стороны, относительным спокойствием к идеям гражданского общества, правового государства, конституционной гарантии прав и политических свобод, т.е. к требованиям буржуазной демократии. *Обращение к социалистической утопии во многом было связано с поисками выхода из обозначившихся к этому времени тупиков просветительской мысли.* Но именно поэтому утопическая мысль еще во многом несла на себе черты просвещения. Это было время, когда идеи просвещения еще не исчерпали себя, а идеи социализма не получили еще адекватной своей сути формы.

Нельзя сказать, что общественность России была готова к восприятию идей социализма. (Даже В.Г.Белинский в это время относился к ним в целом отрицательно.) И тем не менее о социализме в России уже говорили (В.С.Печерин, В.П.Боткин, А.И.Тургенев, А.А.Краевский). Правда, по большей части в переписке с друзьями,

в распространявшихся неопубликованных рукописях, в частных спорах. Сами же представления о социалистическом идеале носили весьма смутный и малоопределенный характер. В это время идеи социализма выступали фактом не столько общественного, сколько узкогруппового сознания, иногда принимая даже религиозный, мистический характер. Это был период, по оценке Сакулина, романтического и даже мистического социализма.

Перенос идей европейского социализма (в форме сенсимонизма) на российскую почву был осуществлен А.И.Герценом и Н.П.Огаревым. Их увлеченность идеями социализма началась еще в студенческие годы. Вспоминая об этом времени, Огарев напишет: «Первая идея, которая запала в нашу голову, когда мы были ребятами — это социализм. Сперва мы наше я прилепили к нему, потом его прилепили к нашему я, и главной целью сделалось: мы создадим социализм». Верность его идеям, как и увлечение сенсимонизмом, они пронесли через всю жизнь. «Сенсимонизм, — писал Герцен, — лег в основу наших убеждений и неизменно оставался в существенном»¹³⁹.

Концептуальная разработка социализма, сознательная пропаганда его на страницах открытой печати началась в 40-е годы. К этому времени круг приверженцев социалистического идеала значительно расширился, а социалистические идеи начали достаточно широко обсуждаться на страницах отечественной журналистики («Отечественные записки», «Современник»). В 40-х годах в России появилась собственная социалистическая литература. Интерес к идеям социализма совпал (а в какой-то степени и был обусловлен) с выявившейся новой линией развития русской общественной мысли. Эта линия была связана с обострившимся интересом к Франции, которая приковывала к себе внимание всей Европы. Взоры интеллектуальной России были устремлены в ту же сторону, но не только на умеренную Францию Луи-Филиппа и Гизо, а и на революционную Францию, ко-

торая боролась с режимом Гизо и подготовляла события 1848 года. Эта Франция вселяла надежды и одновременно страх. Поэтому новые симпатии приняли какую-то экзальтированную форму. «Русская интеллигенция любила не современную, действительную Францию, а какую-то другую — Францию воображаемую, фантастическую Францию», — писал П.В.Анненков¹⁴⁰. Этим симпатиям суждено было оттеснить давнюю любовь русских интеллектуалов к философствующей Германии. Интерес развернулся в сторону социалистических изысканий французов. Живо стали обсуждаться темы социального устройства, критиковаться история европейской цивилизации, отвлеченные вопросы будущего. Проявленный ранее под влиянием Фихте и Шеллинга интерес к философской метафизике послужил своеобразной подготовкой для *социальной метафизики*.

Происшедшее в России вполне естественное сближение между этими двумя философскими формами дали философию истории А.И.Герцена, основанную на научном реализме и одновременно соединенную с социальной утопией. Без преувеличения можно сказать, что *без историософских идей Герцена нельзя понять смысл русского социализма*, — этого этапа его истории.

Оформлению идей социализма в собственную теорию предшествовала критика его основоположниками французского утопического социализма, который упрекался, с одной стороны, в слабой философской проработке общественного идеала, а с другой стороны, в оторванности от действительности.

Эта критика подспудно имела два основания. Первое — увлечения рационализмом немецкой классической философии. В начале 50-х годов Герцен вспоминал: «Социализм нам казался самым естественным силлогизмом философии, применением логики к государству»¹⁴¹. Второе — попытки привязать социалистический идеал к российской жизни, навести мосты между ним и историчес-

кой действительностью, между будущим и настоящим. И то, и другое определило главную особенность социалистической утопии: с одной стороны, ее достаточно строгую концептуальную разработанность на основе гегелевского учения о диалектике и антропологического материализма Фейербаха, а также на материалах таких наук об обществе, как история и политическая экономия, с другой стороны, попытку связать социалистическое учение с судьбами русской крестьянской общины, в которой был увиден элемент будущего общества. Оба момента были взаимосвязанными и обуславливающими друг друга, но главное, отражавшими состояние общественного сознания и социально-экономической ситуации в стране. С критики западных утопий обозначился перелом в мировоззрении приверженцев социализма: на место увлечения его идеями приходит сознательное их усвоение с целью превращения учения о социализме в «die Philosophie der That» («философию действия»). Это было уже первым шагом на пути отхода от просвещения в вопросах социального моделирования. И именно в это время под воздействием европейских революций и определенных разочарований в прежних социалистических утопиях Герцен и Огарев разрабатывают теорию, давшую утопической мысли феномен, получивший название «*русский социализм*», соединившего вольную, свободную мысль с идеями социализма, а со временем с революционно-демократическим движением России.

Первоначально представления о грядущем социальном переустройстве были весьма неопределенны. Но уже в начале 40-х годов их социалистические воззрения оформляются концептуально и из писем и дневников переходят в философскую публицистику. Герцен и Огарев создали своеобразную историсофскую конструкцию, явившуюся ответом на социально-политические запросы национального развития страны. За два года до смерти Герцен дал ей следующее определение: «Мы *русским*

социализмом называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления, — и идет вместе с рабочей артелью навстречу той экономической *справедливости*, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука»¹⁴².

В поисках обоснования социалистического идеала Герцен и Огарев, следуя сенсимонистской традиции, обращаются к опыту Французской революции. Центральной идеей становится признание ее исторически-закономерного характера: Французская революция рассматривается как результат «болезни политического тела Франции», которое было «не в уровень с веком». Однако ее стихийный размах, разрушительный характер последствий навели на мысль, скорее о ее неразумности, нежели о целесообразности, убеждали в пагубности насилия как средства решения социальных задач. Уже в первой своей статье «О месте человека в природе» (1832) Герцен определяет якобинскую диктатуру как «темный кровавый терроризм». Незадолго до смерти в письме «К старому товарищу», которое явилось своеобразным духовным завещанием мыслителя следующим поколениям, Герцен подтвердит свою верность этой идее. «Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, — проповедь, неустанная, ежеминутная, — проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушения, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам», — скажет он¹⁴³. Это отношение к насильственным методам социальных преобразований позже будет перенесено и на пролетарскую революцию. Хотя для разрушительной силы последней найдется объективное основание: «пролетариат будет мерить в ту же меру, в которую его мерили», — скажет Герцен; но именно по-

этому новые заповеди явятся «при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест»¹⁴⁴. Пролетарская революция как стихия насилия не может стать мостом между настоящим и будущим, — слишком разрушительны ее интенции. В ее огне с капиталом, собранным ростовщиками, может погибнуть другой капитал, в котором «наслоилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история». Вот почему революционное дело выступает для Герцена и Огарева прежде всего как Вольное Слово, плодотворную действенность которого они будут доказывать всю свою жизнь. Революцию следует осуществлять, по их мнению, деятельностью «развивательной». К таковой они относили пропаганду социалистических идей, критику существующего строя, обличение язв капитализма.

Столь последовательное неприятие революции как формы социального переустройства внесло коррективы и в критику капитализма: в ней выявился новый аспект. Буржуазное общество не устраивало не только принципами социально-экономической организации общественной жизни, но и складывающимся на их основе *образом жизни* — буржуазным мещанством, индивидуализмом, «ничем не обуздываемым стяжанием». Такой поворот не был неожиданным, если вспомнить философские пристрастия критиков — напомним, они покоились на антропологизме Фейербаха и диалектике Гегеля. Человек в системе этих воззрений рассматривался как *субъект*.

В соответствии с этим исходным принципом философия истории Герцена, обсновывающаяся естественно-закономерный характер исторического процесса, исходила из признания, что история, как и природа, «никуда не идет» — в том смысле, что у нее нет заданной кем-то цели, и уже в силу этого она «готова идти всюду, куда укажут», и если это возможно, т.е. если ничто не мешает. Но и люди — «не куклы», «не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории», и потому могут

«переменить узор ковра», потому что «хозяина нет, рисунок нет, одна основа»¹⁴⁵. Слепая толпа, мещанство, озабоченное только «столовой и спальней», никуда не идет и никого никуда вести не может, она не в состоянии увидеть необходимые «фарватеры истории». Вот почему буржуазный образ жизни, убивая в человеке активность субъекта, совершает насилие и над историей, ибо лишает ее главного — деятельного человеческого начала, благодаря которому она приобретает способность к импровизации, становится вариативным процессом, находит наиболее жизнеспособные формы. Капиталистическая цивилизация не устраивала тем, что слишком заземляла человеческие порывы и интересы, мешая тем самым человеку понять свое «положение рулевого».

Заметим, что по этой же причине не устраивали мыслителей и прежние социалистические Утопии: они тоже убивали человека — своими регламентациями и подчинением служению будущему. И Герцен, и Огарев были активными противниками утопической концепции прогресса, видевшей смысл индивидуальной жизни в служении будущему, в принесении ее в жертву цели его скорейшего приближения. «Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо наград пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: *Moriture te salutant*, только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле»¹⁴⁶. Настоящее каждого поколения имеет свою ценность, свою полноту, хотя это вовсе не означает, что человек должен идти на поводу у настоящего, позволять ему подавить в нем его природное призвание всегда оставаться свободным для волевых изъявлений. Человеку необходимо в любых условиях сознавать себя свободным. Вот этого сознания не предусматривали ни капиталистическая цивилизация, ни общественный идеал прежних утопистов, считали Герцен

и Огарев. В этой плоскости пролегла главная линия их противостояния и капиталистическому настоящему, и социалистическому будущему, как оно виделось их предшественниками. Следование этой линии, правда, не всегда удавалось, слишком острой иногда оказывалась грань противостояния, слишком трудно было провести ее между капиталистической Сциллой и социалистической Харибдой.

Неприятие капиталистической цивилизации, ее «буржуазности», желание найти для своей страны путь в будущее, не зараженное язвами «буржуазности», подводило к «идее перескока» Россией стадии капитализма, концептуально оформившейся в теорию некапиталистического развития. «Мы можем и должны пройти через скорбные, трудные фазы исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит низшие ступени зоологического существования», — писал Герцен¹⁴⁷.

Идея подкреплялась, во-первых, ссылками на объективные для этого социально-экономические предпосылки, которые связывались с крестьянской общиной, отсутствовавшей в западной формуле развития. В обращении к общине можно усмотреть связь со славянофильством (и не без основания), но эта связь все-таки внешняя, ибо защита общинных принципов (право каждого на землю, коллективное владение ею, мирское управление) подчинена учению о социализме и продиктована не склонностью культивировать национальную самобытность, а желанием соединить достижения западной цивилизации с особенностями жизни русского народа. Иными словами, как это ни покажется странным, в самом обращении к общине было больше «западничества» нежели «славянофильства». В нем просматривалось очевидное противостояние последнему, как *консервативной утопии*. Задача виделась в том, чтобы «...сохраняя все то общечеловеческое образование, взятое с Запада, которое действительно привилось к нам и, следовательно, должно идти с нами в рост, — удалить все то, что не привилось, что составило

народе ложных учреждений и ложных юридических понятий, и, следовательно, освободить народное начало общественного права собственности и самоуправления так, чтобы оно могло развиваться без препятствий, на свободе»¹⁴⁸.

В отличие от славянофилов Герцен и Огарев в своей модели исторического развития России исходили из факта внутренней противоречивости крестьянской общины. С одной стороны, она признанием равного права каждого на пользование землей утверждала принцип коллективизма, без которого невозможен социализм. «В избе русского крестьянина мы обрели зародыш экономических и административных установлений, основанных на общности землевладений, на аграрном и инстинктивном коммунизме», — уверен Герцен¹⁴⁹. С другой стороны, в принципах общинной жизни усматривались существенные ограничения для свободного развития человека, ибо община «усыпляет человека, присваивает его независимость».

В снятии этого противоречия — как «развить полную свободу лица, не утрачивая общинного владения и самой общины, — по их мнению, — и заключается задача социализма»¹⁵⁰. В том, что это противоречие преодолимо, защитники новой утопии не сомневались. Для этого необходимо освободить общину от примесей, внесенных в нее монголизмом, бюрократией, немецкой военной, крепостничеством. «Дайте общине свободно развиваться, — убеждал Огарев, — она договорится до определения отношений лица к общине, она даст право независимости лицу»¹⁵¹. Правда, на чем основывалась эта уверенность — на исторических ли параллелях, на умозрительных ли схемах или на историософской идее, что любая исторически сложившаяся форма несет в себе разумное начало, сказать трудно. Очевидно одно — община мыслилась при соблюдении определенных условий как способная к развитию и не препятствующая свободному развитию личности, и в таком качестве она рассматривалась как зародыш будущего общества.

Заметим, что важна не община сама по себе, а ее принципы, которые, кстати сказать, сродни подвижной «рабочничьей артели» как форме, которая не имеет монопольных прав, а есть просто соединение вольных людей одного мастерства «на общий прибыток общими силами». Это предопределило главный вывод, а точнее, главное направление всех построений, а с этим — выбранные принципы моделирования будущего: Европа пойдет «пролетариатом к социализму, мы — социализмом к свободе»¹⁵². В общине виделась та социальная структура, которая может связать настоящее и будущее страны с наименьшими «издержками», обеспечив необходимые для этого быстрые темпы экономического и социального развития российского общества. Но даже в отстаивании этой идеи Герцен и Огарев оставались убежденными западниками, ибо задача виделась в том, чтобы, сохраняя «народное начало», связанное с «общественным правом собственности и самоуправлением», развить «общечеловеческое образование», которое уже привилось в России. Концепция «русского социализма» преследовала цель не тотального отрицания западной цивилизации, а поиска путей развития, соответствующих историческим особенностям России и при этом не исключающих ускоренного усвоения ею достижений этой цивилизации. В процессе усвоения последних идеи социализма должны были сыграть (и, как знаем, сыграли) не последнюю роль. В этом смысле Герцен был, бесспорно, прав, говоря, что «Россия проделала свою революционную эмбриогению в европейской школе /.../ Мы сослужили народу эту службу, мучительную, тягостную»¹⁵³.

Во-вторых, «идея перескока» Россией через капиталистическую фазу развития подкреплялась ссылками на идею преимущества «отставших» народов. Отметим, что в обосновании этой мысли у основоположников «русского социализма» полностью отсутствовали элементы социального мистицизма, как в равной мере в них не было и акцента на насильственных методах, что будет харак-

терно для последующих защитников этой идеи — у большевиков. «Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее... Либералы боятся потерять свободу — у нас нет свободы; они боятся правительственного вмешательства в дела промышленности — правительство у нас и так мешается во все; они боятся утраты личных прав — нам их еще надобно приобретать»¹⁵⁴. В защите «идеи перескока» высвечивается линия противостояния либеральной модели: в общинном социализме нет места гражданскому обществу, его проблемы как бы и не волнуют защитников социалистической утопии. Правда, значимость этих проблем не отрицается, но не для России эпохи самодержавия. Пока существует самодержавие, все разговоры о гражданском обществе, праве и либеральных свободах есть утопия, считают социалисты, ибо в начале необходимо решить вопросы, связанные с обеспечением экономических и политических предпосылок гражданского общества и прежде всего — с ликвидацией крепостничества и самодержавия. В такой постановке проблемы они как бы смотрели дальше либералов, точнее (были *более реалистами*). Но в выборе средств решения этой задачи они были *утопистами*.

Некапиталистический путь развития предполагал подготовку необходимых социальных и экономических условий, мер по реорганизации общественного хозяйства. В этой подготовительной работе важно устоять перед искушением «перескочить сразу — от нетерпенья» (Герцен). В противном случае разрушенный старый строй «снова начнет какой-нибудь буржуазный мир», потому что он «внутри не кончен» и потому что новая организация на первых порах не настолько готова, «чтобы пополниться, осуществляясь»¹⁵⁵. Предостережения Герцена на этот счет очень важны для понимания следующих моментов «идеи перескока». Прежде всего, она не только не исключала, а предполагала необходимую подготовительную работу: но-

вая организация не должна насаждаться принудительными средствами, силой авторитета ее непосредственных инициаторов, ибо должна иметь реальную почву. Далее, «идея перескока» не противоречила герценовской философии истории, в частности ее исходной посылке о естественно-закономерном ходе истории. Последняя в рамках исторической закономерности могла варьировать свои направления, если таковые не шли вразрез с ее общей логикой. Некапиталистический путь развития представлялся именно таким возможным вариантом, имеющим объективные основания в исторически сложившейся русской крестьянской общине. На Западе ее не было — там не было для «перескока» предпосылок, в России она была — и это давало ей иные шансы для развития. Возможно, эти шансы и заведут в тупик. А возможно, и нет. Но в любом случае модель «крестьянского социализма» — это реальность, хотя лишь «частный случай нового экономического устройства, новой гражданственности, одно из их приложений», как подчеркивал Герцен, убежденный в том, что социальные идеи обладают многообразием форм воплощения¹⁵⁶.

В-третьих, идея «перескока» обосновывалась «философией случайности». Мы уже отмечали выше, что «русский социализм» был не только навеян национальными и остро развитыми патриотическими чувствами его основателей. Но одновременно он очевидно тяготел и к рационалистическому обоснованию, к философски оформленным сциентистским доводам. К числу таких сциентистских обоснований возможности у России своего пути развития относится и историсофская трактовка Герценом случайности: возможность вырваться вперед связана с тем, что ход истории не предопределен жестко, ибо в его «формулу» входит много изменяемых начал, в том числе и возможность случая, в силу чего она склонна «к импровизации». «При отсутствии плана и срока, аршина и часов развитие в природе, в истории не то что не может отклониться, но должно беспрестанно от-

клоняться, следуя всякому влиянию и в силу своей бесконечной страдательности, происходящей от отсутствия определенных целей»¹⁵⁷. Поэтому история «бросается во все стороны», творя «бесчисленные вариации на одну и ту же тему». На этом тезисе — о роли случая и склонности истории к импровизации в силу заложенных в ней возможностей двигаться в разнообразных направлениях — основана герценовская идея о социализме вообще и обоснование его возможности в России. В экономически отсталой стране, какой была Россия, он вполне может укорениться как результат исторической импровизации. Но, несмотря на очевидный сциентизм исходных посылок, в идее, да и в ее обосновании, остается много места для утопизма. Примечательна в этой связи оценка В.В.Зеньковского, считавшего, что именно включением в модель исторического развития категории случайности «Герцен открыл для русской мысли очень плодотворную и творческую основу для разных утопических и теоретических построений»¹⁵⁸.

«Русский социализм» был попыткой наведения мостов между идеалом и исторической действительностью. Возможность его реализации связывалась с установкой на философский реализм, который признавался основой социалистической теории. Суть его — «наука опыта и расчета», т.е. политэкономическая теория и адекватная ей социальная практика. «Без всякого сомнения социализм связан с наукой действительного опыта и расчета, — писал Н.П.Огарев, — в свою очередь наука опыта и расчета... без сомнения связана с философским реализмом, она не может взять себе другого основания, не изменяя самой себе»¹⁵⁹. Такова же позиция была и у Герцена: «Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебета и кредита»¹⁶⁰. «Наука опыта и расчета» напрямую соотносилась с экономическими вопросами, которые рассматривались как главные, исходные в любом типе

социального моделирования. «Наука общественного устройства все больше и больше приходит к необходимости принять за свое средоточие экономические отношения общества. Таким образом, основная задача переходит из неопределенности слишком широкой постановки в пределы, яснее очерченные. Мы сводим постановку основной задачи на экономические отношения общества»¹⁶¹.

Обращение к политической экономии, которая «крепко уселась на почве» (Огарев), вынудит социализм «заземлить» свои идеи, что в свою очередь вдохнет воздух в политическую экономию¹⁶². Соединение политической экономии с социализмом на территории идеи о роли общинного землевладения разворачивало социалистический идеал к реальной жизни, укрепляло его необходимым «экономическим началом». (Чуть позже из такой постановки проблемы вырастет так называемый народнический социализм, который замкнет социалистическую теорию на революционную практику, выявив точку роста для другой — большевистской — Утопии.

2.2. Экономическое обоснование социалистической утопии

В конце 40-х г. почти одновременно с Герценым и Огаревым о значимости экономических вопросов для социалистической теории писал обративший на себя внимание экономист, проф. Петербургского университета В.А.Милютин. Ставя вопрос о преодолении утопизма социалистических теорий, он подчеркивал, что последние должны обращаться к экономическим вопросам. Социалистическая теория должна соединиться с политической экономией, это придаст ей необходимый философско-исторический характер, включит в нее знание об объективных законах истории. Милютин принимает Утопию как способ социального моделирования, считая

ее необходимой и естественной формой «человеческой мыслительности». Не будь в человеке этой способности противопоставлять действительности свой идеал, не было бы развития, не было бы истории¹⁶³. Но важно вовремя поставить предел своим идеальным построениям, своей фантазии. Это возможно на территории философии истории, которая, по мнению Милютин, занимает срединное положение между «чистым идеалом» и «чистой действительностью». «Она есть не что иное, как выражение их взаимного отношения, наука, объясняющая способ перехода идеала в действительность и развитие действительности сообразное с идеалом»¹⁶⁴.

Как наука положительная и точная, т.е. дающая рациональное предвидение будущего, философия истории освобождает Утопию от элементов мечтательности и пророчеств. Последнее, принципиально меняя отношение социального идеала с действительностью, делало возможным переход Утопии мало-помалу из несбыточной мечты в идею совершенно практическую, основанную на знании, что человечество не может по своему желанию, т.е. «без приготовлений», перейти из существующего состояния в состояние «полного и безусловного совершенства». Эти приготовления, считал Милютин, связаны с постепенным усовершенствованием экономической организации общества, и прежде всего с урегулированием взаимоотношений труда и капитала: «...до тех пор, пока не изменится это отношение, различные необходимые условия и элементы прогресса будут постоянно находиться между собою в несогласии и разрыве»¹⁶⁵.

Путь к этому — развитие промышленности, совершенствование отношений собственности, кредитной системы, организации труда в направлении, делающим возможной ситуацию, чтобы работник участвовал «в выгодах капитала». Постепенное совершенствование современной экономической организации — ближайшая и непосредственная цель и задачи социальной науки, в том

числе и теории социализма (связаны с поисками средств и способов достижения этой цели. Обращение к этой цели сделает социализм «истинной утопией», т.е. придаст его общественному идеалу, наличие которого и определяет всякую утопию как особый жанр интеллектуального творчества, черты рациональности, приведет социализм в согласие с действительностью и ее законами.

С этих позиций Милютин критикует современную ему социалистическую Утопию. Социалисты, считает он, обеспокоены поисками такого идеального устройства, которое обеспечит каждому пользование всеми возможными благами, т.е. принимают «справедливое за единственный критерий возможного». Для Милютина выход из этого тупика (правомерность социалистического идеала при несогласованности его с экономическими законами развития) возможен только с помощью политической экономии, которая не только не снимает с Утопии характер мечтательности, но и позволит, приблизив ее к действительности, изучить и понять последнюю в соответствии с ее собственными тенденциями и силами, сблизив тем самым Утопию с жизнью. Результатом слияния социализма с политической экономией станет, по мысли Милютина, новая наука об обществе, задача которой виделась «в приложении открытых истин к жизни и в преобразовании экономического устройства соответственно с требованиями разума и общей пользы»¹⁶⁶. Это придаст социализму характер «научных формул» и из несбыточной мечты превратит в идею, способную перейти из «сферы отвлечений в сферу действительности».

Идеи Милютина нашли продолжение в 50-х гг. в учении о социализме Н.Г.Чернышевского. Еще в 1848 году он писал, что политическая экономия и история «стоят теперь во главе всех наук. Без политической экономии теперь нельзя шагу ступить в научном мире. И это не то, что мода, как говорят иные, нет, вопросы политико-экономические действительно теперь стоят на первом пла-

не и в теории, и на практике, то есть и в науке, и в жизни государственной»¹⁶⁷. Подобно политической экономии содержание социализма ограничивается экономической стороной жизни. Собственно, между этими двумя теориями можно поставить знак тождества. Поэтому, моделируя будущее социалистическое общество, Чернышевский уделяет внимание прежде всего вопросам его экономических и материально-технических предпосылок, его закономерной обусловленности.

В это время в «Современнике» выходят его работы «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858), «Капитал и труд» (1860), «Очерки политической экономии (по Миллю)» (1861). Своеобразие моделирования Чернышевским контуров социалистического общества состоит в том, что он обосновывает Будущее на основе выявления ведущих тенденций настоящего — современных ему капиталистических реалий Западной Европы. В общественных отношениях «все зависит от нынешнего положения дел, из каких бы там событий оно ни проистекало, из давних или недавних. Если общество проникается стремлением изменить эти отношения, оно не смотрит ни на какое право давности; дело решается тем, на какой стороне сила и каковы нынешние чувства стороны, одерживающей верх»¹⁶⁸. Опираясь в своих исследованиях на идеи Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Годвина, а также некоторые построения Луи Блана, мыслитель приходит к выводу: социализм есть неизбежный результат социально-экономической истории человечества, его движения по пути к коллективной собственности и «принципу товарищества»¹⁶⁹.

Чтобы преодолеть «догматические предвосхищения будущего», как он характеризовал предшествующие Утопии, Чернышевский делает объектом своего анализа исторический процесс в точке перехода от старого к новому, от «сегодня» к «завтра». Поиски этого перехода приводят Чернышевского к убеждению, что историческое

движение общества подчиняется объективной закономерности. (Хотя следует отметить, что в целом его взгляды на исторический процесс в это время еще не выходили из рамок просветительской теории.)

Наиболее последовательно проблемы экономической обусловленности социализма разрабатывались Чернышевским в связи с переводом и комментированием сочинений Д.С.Миля, в частности его «Оснований политической экономии». Анализ исторического процесса и экономического развития капиталистической цивилизации подвел Чернышевского к выводу: вектором последней является рост крупной промышленности и возрастание обобществления труда, что должно с необходимостью привести к ликвидации частной собственности. В этом смысле, уверен Чернышевский, «опасаться за будущую судьбу труда не следует: неизбежность ее улучшения заключается уже в самом развитии производительных процессов»¹⁷⁰. Но дело не только в технологических тенденциях промышленного производства, а и в объективной социальной направленности общественного развития, которая выявляется в том, что человечество идет «к замене вражды, принимающей в промышленных делах форму конкуренции, товариществом, союзом»¹⁷¹.

Главное в вопросах о будущем — увидеть направление, в соответствии с которым развивается настоящее. И потому, что направление всегда выражает закономерность, т.е. сущностную характеристику исторического процесса, и потому, что, следуя направлению, мыслитель освобождает модель от частных, которые трудно верно предугадать, поскольку «историческое движение совершается под влиянием... множества различных влечений»¹⁷². Таким направлением, по мнению Чернышевского, является «промышленное направление». Оно есть объективное основание всех изменений, которые ожидает человечество и которыми следует руководствоваться

ся, подготавливая или осуществляя эти изменения. Это необходимая, говоря современным языком, парадигма социального моделирования.

Сам Чернышевский, не без доли просветительского романтизма, так обосновывает свою позицию: «...из промышленного направления выходит и некоторое содействие просвещению, потому что для промышленности нужна наука и умственная развитость, из него выходит и некоторая забота о законности и правосудии, потому что промышленности нужна безопасность; из него выходит и некоторая забота о просторе для личности, потому что для промышленности нужно беспрепятственное обращение капиталов и людей /.../ Когда развивается промышленность, прогресс обеспечен»¹⁷³. Как видим, даже в этой очевидной обращенности к материальной основе жизни Чернышевский оставался утопистом, потому что последним критерием прогресса в соответствии с его философским антропологизмом для него выступает адекватность социальных отношений и институтов «природе человека», «потребностям человеческой природы»¹⁷⁴. В этой связи примечательно следующее суждение: «Если самостоятельность общества действительно должна быть целью общественной теории, то очевидно, что этой цели можно достигнуть только покровительством всему, что содействует развитию самостоятельности, — именно заботой об истреблении бедности, распространении просвещения, о смягчении нравов и об истреблении тех причин, от которых портится характер и получают фальшивое направление человеческие склонности»¹⁷⁵.

И тем не менее социализм выступает в учении Чернышевского как экономическая необходимость, какой в свое время стал капитализм, принесший более высокие формы производства. Корни этой необходимости уходят в социально-экономический базис капиталистической цивилизации, по мере развития которого стала «все сильнее и сильнее выступать тенденция, противоположная

безграничному праву частной собственности... тут везде — нечто похожее на коммунизм»¹⁷⁶. Сделанный вывод работал на обоснование идеи о преходящем характере и исторической ограниченности капитализма, причины которых Чернышевский усматривал прежде всего в факте разъединения непосредственного производителя со средствами производства, т.е. в частной собственности, ставящей предел развитию производства, росту производительности труда. Эта историческая ограниченность капитализма и вселяет уверенность в обреченность частнособственнических порядков, в реальность ситуации, «когда отдельные классы наемных работников и нанимателей труда исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе»¹⁷⁷.

Таким образом, капитализм в своем историческом движении приходит к собственному отрицанию, приближает свой социальный антипод — социализм. Линия критики капитализма и прорисовки будущего общества, казалось, достаточно жестко вела к материализму. Но этого не случилось — не привела. Иногда анализ капиталистических реалий уводил от утопии, но тогда на горизонте появлялись контуры мелкобуржуазного социализма с его ориентацией на мелкого собственника-производителя.

Вывод об экономической обусловленности социализма, о его корнях в капиталистической (промышленной) цивилизации не поколебал веры Чернышевского в крестьянскую общину, что и объясняет во многом, почему он остался на позициях утопического социализма. С этим последним его сближает и приверженность идее «перескока», правда, получившей несколько иное, отличное от герценовского, философское оформление. «Нас занимает вопрос: должно ли данное общественное явление проходить в действительной жизни каждого отдельного общества все логические моменты или может при благоприятных обстоятельствах переходить с первой или

второй степени развития прямо на пятую или шестую, пропуская средние, как это бывает в явлениях индивидуальной жизни и в процессах физической природы», — задается вопросом Чернышевский и дает на него положительный ответ¹⁷⁸. Более того, народ, общество, «перепрыгнувшие» через историческую ступень, имеет шансы избежать или хотя бы уменьшить просчеты, ошибки, неудачи тех, кто медленно поднимался по ступеням истории. «Поздние народы» не только быстрее, но и легче преодолевают весь этот путь, они оказываются в «фаворе» у истории, которая «как бабушка страшно любит младших внучат»¹⁷⁹.

Свой общественный идеал Чернышевский связывал с общинным владением, которое он дополнял «общинным производством». Общинное владение, по его мнению, «гораздо лучше частной собственности упрочивает национальное богатство»¹⁸⁰. Но главное — общинному владению соответствует «соединение работника и хозяина в одном лице», что гарантирует свободу — политическую, гражданскую, духовную. Для Чернышевского это главный показатель развитости общества. Поэтому, если в условиях общественной собственности на средства производства в чем-то будет проигрывать производительность труда — не стоит слишком беспокоиться, ведь рост материального, вещественного богатства — это не цель, а лишь средство общественного прогресса. «На какой фабрике больше производится продуктов: на фабрике, принадлежащей одному хозяину-капиталисту, или на фабрике, принадлежащей товариществу трудящихся? — Спрашивает Чернышевский и отвечает, — я этого не знаю и не хочу знать; я знаю только, что товарищество есть единственная форма, при которой возможно удовлетворение стремления трудящихся к самостоятельности, и потому говорю, что производство должно иметь форму товарищества трудящихся»¹⁸¹. Как видим, и в политэкономических вопросах Чернышевский порой сле-

довал ориентациям, которые несли печать просветительского социализма 40-х гг. И тем не менее по сравнению со своими предшественниками он сделал заметный шаг вперед.

Во-первых, Чернышевский придал социалистической утопии новые черты, приблизив ее обоснование к материалистической догматике, основанной на политэкономическом анализе-критике капитализма¹⁸². Обращение к политической экономии, исследование законов истории, дало ему некоторые преимущества в прорисовке будущего общества и прежде всего его социально-экономических контуров. Социализм Чернышевского предполагает «соединение труда и собственности в одних и тех же лицах», исчезновение «класса наемных работников и класса нанимателей труда», появление класса людей, которые будут «работниками и хозяевами вместе», соединение ренты, прибыли и рабочей платы в одних и тех же руках, участие трудящихся в управлении производством и др.

Во-вторых, для Чернышевского достижение социализма связано с успехами человеческой цивилизации, историческое движение которой «дает самостоятельность индивидуальному лицу, так что оно в своих чувствах и действиях все больше и больше руководится собственными побуждениями, а не формами, налагаемыми извне»¹⁸³. В его утопии, соединившей социализм с антропологическим принципом (человек — мера всех вещей), в равной степени внимание уделялось как принципам построения общества, так и человеку, личности. Именно Утопии Чернышевского мы обязаны тому типу людей, который взволновал общественность 60-х гг., еще раз взбудоражил ее идеями социализма, заставил говорить о нем не столько как о желаемом будущем, сколько как о должном настоящем. Его социалистические идеи, как справедливо отмечает Е.Черткова, имеют ярко выраженный этический характер¹⁸⁴. Герои его романа «Что делать?» стали прообразами тех «новых людей», которые

спустя некоторое время составили многочисленные отряды народовольцев и с практической деятельностью которых будет связана дальнейшая эволюция русского утопического социализма.

В-третьих, своеобразна трактовка Чернышевским путей достижения социалистического идеала, центральной идеей которой является идея «переноса» из будущего в настоящее «всего, что можно перенести». (В этой связи примечателен Четвертый сон Веры Павловны, о котором мы уже говорили.) Как осуществить этот «перенос»? — Путем нравственного самосовершенствования, воспитания в себе критического отношения к существующей действительности, самообразования, стараниями где и как возможно внедрять в жизнь — свою собственную и окружающих тебя людей — любовь к труду и такие формы его организации, которые, с одной стороны, основываются на товариществе, с другой стороны, культивируют «честное предпринимательство» и принцип соперничества. Чернышевский и сам, видимо, понимал, что в подобных рекомендациях немало утопизма, тем более в случае, когда речь идет о России, еще толком не ступившей на капиталистический путь развития. То, чего требует от своих людей Запад — соперничество, конкуренция, предприимчивость (не могло быть в полной мере востребовано в России, и потому для нее «практическое принятие обществом такой формы экономического расчета, которая была бы удовлетворительнее соперничества, — дело очень трудное»¹⁸⁵. И не только трудное, но и далекое, в этом Чернышевский не сомневался. Столь очевидная противоречивость позиции, свидетельствующая о внутренних сомнениях и сложных исканиях придает его социалистическим воззрениям свое лицо, наделяет его чертами, отличающими в целом как от социалистической Утопии 40-х гг., так и от социализма «действенного народничества» 60—70-х гг.

В-четвертых, поставив вопрос «Что делать?» и заставив задуматься над трудностями ответа на него, Чернышевский не отрицал в качестве способа приближения Будущего массовых (для России — крестьянских) революционных действий. Но они должны быть *подготовленными*. Он был противником стихийных, бунтарских выступлений, убежденный в их бесплодности. Необходимое условие успешной народной революции — это выбор ее «надлежащего направления», т.е. такого, какое под силу осуществить только организации революционеров — группе просвещенных, критически мыслящих людей, способных своим поведением и действиями воодушевить массы на борьбу. Этими доводами (не идеей революции самой по себе!) Чернышевский открыл путь для соединения социалистической теории с революционной практикой, для превращения ее *из факта общественной мысли в факт революционной борьбы*. Правда, эти проблемы найдут у него разработку после крестьянской реформы 1861 года, и именно с этого времени Чернышевский все меньше будет писать о социализме. Это было фактически «началом конца» социалистической утопической мысли в России в ее классическом варианте, когда моделирование будущего общества осуществляется в сфере сознания и средствами сознания. Идеи социализма переключаются в область практики. Правда, как показал исторический опыт, сам по себе этот факт вовсе не освободил их от утопизма, ибо и практические действия могут завести в «историческое никуда».

* * *

Мы рассмотрели этап развития русского утопического социализма, связанный с началом 60-х — концом 70-х годов прошлого века, доведя его до начала революционного дви-

жения в России, когда наметился переход к активной пропаганде социалистических идей, в которую включились такие блестящие публицисты, как Н.А.Добролюбов, М.О.Михайлов, Н.В.Шелгунов, Н.А.Серно-Соловьевич, Д.И.Писарев, П.Г.Зайцевский. Их усилиями идеи социализма переводились на уровень прикладных разработок, связанных по большей части с тактикой и стратегией революционной борьбы. Социалистическая утопия соединилась с русским революционно-освободительным движением, и отныне они будут выступать в одном потоке¹⁸⁶.

В это время внутри русского социализма и революционного движения возникают различные течения, вступающие подчас в непримиримые отношения друг с другом. Но господствующим направлением и освободительного движения, и социалистической мысли стало «действенное народничество». «Действенное народничество» выступило как против пережитков крепостничества, царского самодержавия, так и против буржуазного пути развития России. Его главными идеологами были М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, В.В.Берви-Флеровский, К.М.Михайловский. Концепции Герцена и Чернышевского сменились теориями, в которых общетеоретические, «замешанные на просвещении», основы классиков конкретизировались в программы социального действия, ориентирующие на массовое «хождение в народ», вылившееся «в своеобразное приобщение к источнику того, что признавалось за воплощение справедливости и добра»¹⁸⁷. Народники заговорили о социализме другим языком, да собственно и о другом социализме, пытаясь внушить, что борьба за его осуществление есть «личная задача индивида», которую он должен осознать в качестве своего внутреннего долга. Новое поколение его адептов сумело сформулировать идею социализма как политический и нравственный принцип, как форму непосредственного действия. Все были одержимы страстью «устроить будущее».

В это время в социалистическом движении все острее заявляют о себе процессы дифференциации. Разногласия возникают по вопросам тактики и форм революционной борьбы: чему отдать предпочтение — усилению пропаганды социалистических идей в народе, призывам к бунту против самодержавия, массовому террору в отношении представителей властных структур (вплоть до истребления царской фамилии)? Широкий отклик получают идеи анархизма, призыв М.А.Бакунина сойтись с народом, чтобы «помчаться вместе с ним, куда вынесет буря». Защищая формы общественной самоорганизации, покоящейся на началах самоуправления, автономии и свободной федерации (индивидов, провинций, наций), Бакунин выступал против централизованного чиновничье-бюрократического государства. «Мы хотим полной воли для всех народов, ныне угнетенных империей, с правом полнейшего самораспоряжения на основании их собственных инстинктов, нужд и воли, дабы федерируясь снизу вверх, те из них, которые захотят быть членами русского народа, могли бы создать сообщество действительное вольное и счастливое общество в дружеской федеративной связи с такими же обществами в Европе и целом мире», — писал Бакунин¹⁸⁸.

Именно такая форма организации людей — основанная на воле, на самоопределении, какое удастся «ухватить», по мнению Бакунина, да и многих из тех, кто пережил эйфорию свободы гораздо позже, может гарантировать социальное равенство и справедливость. В противном случае равенство обернется рабством, а свобода — несправедливостью. Но история доказывает как раз обратное. А утопизм тезиса обнаруживается в предлагаемой программе борьбы за осуществление идеала: средством его осуществления провозглашалось пробуждение инстинктивных порывов масс к свободе, направленных на насильственное разрушение государственных структур. В уповании на разрушительную силу массовых

действий, в убеждении, что насилие может породить согласие и социальный мир, состоял утопизм бакунинской теории. Он, как и его последователи, не учитывал того факта, что усвоенные толпой идеи вольности становятся идеями-страстями неуправляемой толпы и приобретают разрушительный характер. История это доказывала не раз, более того, она доказывает это и по сей день, мы только не принимаем в должной мере ее доводы. Может, потому, что, как справедливо отмечает В.Г.Федотова, «воля вместо свободы как противоположный полюс долготерпения является характерной чертой русского сознания»¹⁸⁹. Эта «воля вместо свободы» и сегодня будоражит умы многих.

Среди тех, кто в XIX в. противостоял анархическим настроениям, были Г.А.Лопатин, М.Ф.Нерескул, П.Л.Лавров и — А.И.Герцен. Еще раз напомним его письмо «К старому товарищу», которое явилось результатом долгих, мучительных раздумий о сущности социализма и революции, о их «превращенных формах» и опасности за средствами борьбы не увидеть сам идеал. Герцен как бы «приоткрыл» занавес истории и увидел, что произойдет через несколько десятилетий. «Замечено, что у оппозиции, которая открыто борется с правительством, всегда есть что-то от его характера, но в обратном смысле. И я уверен, что существует известное основание для страха, который начинает испытывать русское правительство перед коммунизмом — это русское самодержавие наоборот»¹⁹⁰.

«Письмо-предупреждение» Герцена предостерегало от революционного авантюризма, слепого следования за интересами толпы, от манипулирования ее сознанием. Особенное беспокойство вызывала реальность перерождения идей социализма в казарменный коммунизм. Горе бедному духом перевороту, который из всего бывшего и нажитого сделает скучную мастерскую, вся выгода которой будет состоять в одном пропитании, — предупреждал Герцен. Он предостерегал также от попыток строить

новое общество средствами насилия. Нанося удар старому миру, необходимо спасти все, что достойно спасения. Вместе с осуждением анархических настроений, политического авантюризма, провоцирования масс на стихийные действия под знаком прямолинейно понятой свободы Герцен не соглашается с требованиями уничтожения государства как общественного института власти. Нельзя отрицать государство, убеждал Герцен, пока не достигнуто главное условие выхода из него — «совершенство большинства». Ибо «нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы»¹⁹¹. Верность этого тезиса подтверждает наш сегодняшний опыт. «Лабиринты свободы», оказывается, тоже имеют свои тупики.

Завещание Герцена закрывало последнюю страницу крестьянского социализма, но, правда, не ставило точку в эволюции русской утопической мысли. Она не ушла в небытие, хотя так трансформировалась, что ее трудно было опознать в тех модификациях, которые уготовила история. Крестьянская социалистическая Утопия уступила место большевистской пролетарской. Первоначально, да и позже, никто не увидел в ней черты старого утопизма — сложно было рассмотреть их в теории, основанием которой стало научное мировоззрение — материалистическое объяснение истории. Но это уже совсем другая тема и другая страница в истории русской утопии.

III. ЛИБЕРАЛИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ

В качестве исходных понятий нами принято общее определение либерализма как идеологии, основанной на незыблемости «естественных прав» человека на свободу и безопасность личности, частной собственности и предпринимательской активности, на сопротивление насилию как со стороны отдельных субъектов, так и со стороны государства. Гарантией гражданских свобод считается правовое государство. Либерализм ориентирован на абсолютную ценность человеческой личности, ее приоритет по отношению к обществу и государству. Отсюда вытекает неприемлемость им насилия, предпочтение реформ революционным методам преобразования общества.

Либерализм мы рассматриваем как стадийный тип цивилизации, рано или поздно приходящий на смену традиционным обществам. В соответствии с конкретно историческими условиями и сложившимися традициями он принимает различные формы. Как идеология либерализм в Западной Европе и был реализован в различных типах социально-политической организации общества, превратившись в своеобразную форму *этоса*. Однако как интеллектуальная традиция и как исторический тип общества он остается открытым в процессе своего развития. Поэтому, чтобы понять и по достоинству оценить перспективы развития русского либерализма в контексте мирового исторического процесса, необходим универсалистский подход, позволяющий определить как

общие основания и интенции исторического процесса, так и его национальные особенности и мотивации его исторического выбора.

Русский либерализм, вполне вписываясь в общую парадигму либерализма, имеет и богатые собственные культурно-исторические традиции, широкий спектр которых представлен в ряде публикаций последних лет¹⁹². Однако, как свидетельствует история, альтернатива либерального развития в России так и осталась нереализованной. И даже в настоящее время, когда наша страна, казалось бы, вступила на путь радикальных реформ, либерализм явно пробуксовывает. Историческая незавершенность русского либерализма объясняется отчасти тем, что он развивался на иной, чем европейский либерализм, социально-исторической почве, в иных природно-климатических условиях, в ином идейно-политическом контексте и опирался на свою мировоззренческую мотивацию. «В контексте поисков выхода из системного кризиса, в котором оказалась Россия в начале XX века, — как отмечает В.В.Шелохаев, — можно выделить три основных направления: традиционалистское, либеральное и социалистическое»¹⁹³. В силу конфронтационности их отношений в невыгодном, «зажатом» положении оказывалось среднее — либеральное (направление, в котором представители охранительно-традиционалистского направления видели «красную крамолу», социалистические революционеры — соглашательство и оппортунизм.

Вместе с тем русский либерализм и связанные с ним модели развития имеют определенные преимущества по сравнению с западным, «преуспевшим» либерализмом. Во-первых, сложившись позже европейского либерализма, он усвоил позитивные принципы последнего и вместе с тем уловил его противоречия, выявленные в формах господства финансовой олигархии, «обуржуазивания» человеческих ценностей, «мещанства» как образа жизни среднего класса. Во-вторых, он сумел синтезировать по-

зитивные положения классического либерализма с национальными ценностями русского менталитета, в частности углубив его гуманистический потенциал. В-третьих, в условиях нарастания мирового системного кризиса начала XX века движение «нового либерализма» в России выступило с развернутой программой интеграции либеральных ценностей, ориентированных на права личности, с социально-демократическими ценностями, ориентированными на социальные гарантии права каждого на достойное существование. Таким образом, традиции русского либерализма имеют самостоятельную научную ценность, во многом созвучную современной социально-экономической и политической ситуации в стране и мире.

Глава 1. Социально-историческая парадигма русского классического либерализма

1.1. Идейные истоки либерализма в России

Как идейное течение русский либерализм сформировался в полемике западников и славянофилов, в атмосфере обозначившегося кризиса романтически спекулятивных построений славянофильства и общего увлечения интеллектуальной молодежи гегелевским рационализмом и начинавшим входить в моду позитивизмом. Поражение России в Крымской войне нанесло сокрушительный удар по «метафизическим миражам» славянофилов и по официальной триаде — «православие, самодержавие, народность», поставив страну на порог принудительной модернизации. В этом контексте и возникла потребность пересмотра не только социально-политических ориентиров, но и переосмысления исторической ситуации в стране и в мире в целом. Ответом на эту потребность явился русский либерализм. Утверждение нового направления и распространение его влияния происходило под знаком поиска основ и смысла истории вообще и, разумеется, выявления места России во всемирном историческом процессе.

Мыслителем, обосновавшим и способствовавшим распространению новых идей, был К.Д.Кавелин. В истории русской общественной мысли он сыграл роль своего рода связующего звена между поколениями сороковых и шестидесятых годов, корректно вводя историю России в контекст мировой общественной мысли. По справедливой характеристике В.В.Зеньковского, «Кавелин был одним из самых видных и достойных представителей русской интеллигенции, в частности русского либерализма»¹⁹⁴.

Философские взгляды Кавелина на историю формировались в полемике со славянофилами. Он решительно выступает против славянофильской историософии, оценивающей настоящее с позиций идеализированного прошлого, противопоставляя ей принцип историзма, увязывающий настоящее не только с прошлым, но и с будущим. Возможность в одно и то же время судить историческое явление на основании прошедшего и чаемого будущего расширяет круг зрения, рождает многосторонний взгляд на предмет, освобождает от исключительности, легко переходящей в ограниченность. В том и состоит задача теории, чтобы в смене исторических форм обнаружить *историческую закономерность* и предвосхитить необходимость утверждения новых форм общественной жизни.

Движущей пружиной исторического процесса, согласно Кавелину, является человек с его насущными заботами и интересами. Историю творят люди, человеческие единицы, труд, результаты которого слагаются в условия исторической жизни, определяющие ее ход и вариантность развития. Поэтому-то разумность исторического процесса, его нравственное совершенство определяется положением человека в обществе, признанием его безусловного достоинства. К достижению этой цели различные народы идут бесконечно разнообразными путями, в соответствии со своими историческими предпосылками и традициями, наиболее отчетливо эту цель, по мнению ученого, сформулировало и поставило христианство, вооружив ею все христианские народы. Но в любом случае, настаивает он, «для народов, призванных ко всемирно-историческому действию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно»¹⁹⁵. Народы, приносящие личность в жертву каким бы то ни было внешним целям, выпадают, по крайней мере на время, из исторического процесса, что обрекает их на отставание в развитии всех форм общежития.

Сочетание исторической закономерности с творческой самодеятельностью человека освобождает понимание истории от механистического детерминизма и волюнтаризма. К этой проблеме мыслитель возвращается в своих поздних трудах. Но, преобразуя природу и общественную жизнь, человек не может изменить объективных законов. Однако это не освобождает его от ответственности за свое будущее. Только «незнание и непонимание смысла истории и вообще хода человеческих дел могли внушить ложную мысль, будто все то, что совершается, так и должно было совершиться и иначе не могло быть», — разъясняет Кавелин свою позицию. При многообразии объективных условий человек руководствуется своими интересами и целями, которые отнюдь не всегда бывают наилучшими с точки зрения исторической закономерности. «Поэтому-то деятельность человека и подлежит суду, и вопрос, что было бы, если бы исторические деятели поступили так, а не иначе, совсем не так суетен и бесплоден, как в наше время привыкли думать»¹⁹⁶.

С этих философско-исторических позиций Кавелин подходит к решению вопроса об отношении России к Европе и о ее месте в мировом историческом процессе. На решение его оказала влияние атмосфера шеллингианско-гегелевского исторического романтизма, согласно которому каждый исторический народ развивается в соответствии со своими исходными «началами». Это сближает Кавелина со славянофилами, но его либерализм, апелляция к роли личности их принципиально разделяет. Русский народ представляет собой совершенно «небывалую социальную формацию», поэтому развитие Европы и России до недавнего времени шло различными путями. В «Кратком взгляде на русскую историю» он следующим образом обобщает эту антитезу: «Наше движение историческое — совершенно обратное с европейским. Последнее началось с блистательного развития индивидуального начала, которое более и более встав-

лялось, вдвигалось в условия государственного быта; у нас история началась с совершенного отсутствия личного начала, которое мало-помалу пробудилось и под влиянием европейской цивилизации начало развиваться. Конечно, должно наступить рано или поздно время, — подчеркивает он, — когда оба развития пересекутся в одной точке и тем выровняются»¹⁹⁷.

При таком подходе естественно возникает вопрос, что же нас объединяет? В ответе на него Кавелин в разных вариантах отстаивает один и тот же тезис: *решение проблемы личности*, хотя и с разных сторон. «Там надо было выдвинуть вперед те общие основания, на которых зиждется общественный строй и которые беспрестанно оттеснялись чрезмерно выдающимися притязаниями отдельных личностей и созданных ими добровольных товариществ и союзов. У нас, наоборот, главные направления внутренней истории выражают потребность вызвать к деятельности и жизни личность, ввести ее тоже в общую экономию развития»¹⁹⁸. Решение этой задачи Кавелин связывает с реформаторской деятельностью Петра Великого.

В полемике со славянофилами, которые обрели второе дыхание в начале царствования Александра III, Кавелин отходит и от «чистых западников», ориентированных только на Европу, склоняясь к более органическому пониманию истории. Отмечая различие исторических путей России и Европы и вместе с тем подчеркивая необходимость взаимодействия двух родственных культур, ученый приходит к выводу, что формы жизни у всякого живого и развивающегося народа складываются в определенные *начала* под воздействием *всех* условий и обстоятельств его существования. Этот общий закон, по мнению ученого, остается неизменным и в том случае, когда один народ перенимает формы жизни у другого: они определяют его жизнь лишь настолько, насколько им ас-

симилированы и усвоены, а усвоено и ассимилировано может быть только то, что отвечает существу и потребностям народа.

Исходя из этого, Кавелин утверждает, что влияние Запада могло лишь ускорить *собственное* развитие России по пути общечеловеческой цивилизации, обозначившееся задолго до петровских реформ.

Древняя русская жизнь исчерпала себя вполне. Она развила все начала, которые в ней скрывались. Последним ее усилием было образование зачатков государственности и личного начала. Петр придал начинаниям своих предшественников тотальный характер и облек их в европейские формы, более адекватные общечеловеческому цивилизационному процессу, нежели отечественные, сложившиеся в условиях государства вотчинного типа. Естественно, что при этом не все нововведения оказались совместимыми с российскими формами быта. Дальнейшее развитие истории внесло свои поправки как в сторону реакции, так и в сторону продвижения по четко обозначенному Петром пути развития России в русле общечеловеческой цивилизации. В этом свете эпоха Великих реформ, согласно Кавелину, есть закономерное развитие самой России и продолжение дела Петра.

К.Д.Кавелин был не только поборником либерализма, но и непосредственным участником проведения либеральных реформ. Ему принадлежит заслуга создания одной из первых моделей крестьянской реформы — записка 1855 г. «Об освобождении крестьян», ходившая по рукам читающей публики, позже опубликованная Герценом в 3 выпуске «Голосов из России» и в извлечениях Н.Г.Чернышевским в «Современнике». Его научная, публицистическая и общественная деятельности пересекались с творчеством другого представителя русского классического либерализма — Б.Н.Чичерина, который, в отличие от своего старшего коллеги, тяготел к строго

теоретической деятельности в обосновании либерализма как универсальной закономерности развития человечества.

1.2. Классический либерализм: модель Чичерина

Классическое выражение концепция русского либерализма получила в трудах Б.Н.Чичерина в такой мере, что мы вправе говорить о *модели русского либерализма Чичерина*¹⁹⁹. Точную оценку в этом отношении дает ему В.В.Зеньковский: «Чичерин явил в русской *историософии* и политической доктрине чистейший и редкий у нас тип защитника свободы личности *quand teme*»²⁰⁰.

Концепция либерализма Чичерина сложилась в условиях острого социального, экономического и политического кризиса абсолютизма, выражением которого стало позорное для России поражение в Крымской войне. Оно оказало большое влияние на либерализацию общественного мнения, послужив своеобразным катализатором проведения реформ. Большую роль в формировании либеральных настроений в обществе сыграли лекции, научные труды и публицистическая деятельность Чичерина. Но главной его заслугой является создание фундаментальной теории классического либерализма с учетом исторического развития России.

Философское мировоззрение Чичерина формировалось в период второй волны влияния гегелевской философии. Дань этому влиянию отдал и Чичерин. Позже, пережив юношеское увлечение, он все же настаивает на том, что «кто не прошел через этот искус, кто не усвоил себе вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом и даже не в состоянии вполне обнять и постигнуть философские вопросы»²⁰¹. Самому Чичерину овладение гегелевской философией привило приверженность к рационализму и завершенности формы, но его фило-

софская интуиция, творческий поиск и социально-нравственный пафос имели вполне самостоятельный и оригинальный характер. Не случайно В.В.Зеньковский, отмечая связь Чичерина с гегелевской философией, подчеркивает, что он «*в ряде самых ответственных и существенных пунктов* настолько отходит от Гегеля, настолько следует в этих пунктах совсем иным интуициям, чем это было у Гегеля, что, на наш взгляд, надо изучать Чичерина не в том, в чем он следует Гегелю, а в том, в чем он отклоняется от него»²⁰².

Действительно, следуя в общем метафизике и философии права Гегеля, Чичерин не соглашается с немецким мыслителем в главном — в тезисе о растворении личности в Абсолюте. Только признание абсолютной ценности самой *личности*, считает Чичерин, позволяет обосновать абсолютное значение нравственных начал человека и делает его не только свободным, но и нравственно ответственным за содеянное. «Философия и история раскрывают нам неотъемлемо присущее человеку стремление к свободе. И оно вытекает из глубины Духа, составляя лучшее его достояние и высшее достоинство человеческой природы. Как носитель абсолютного человек сам себе начало, сам абсолютный источник своих действий. Этим он возвышается над остальным творением и только в силу этого свойства он должен быть признан свободным лицом, имеющим права, только поэтому с ним непозволительно обращаться как с простым орудием»²⁰³. Источник свободы не в Абсолюте, ибо свобода предполагает и возможность уклониться от его законов. Смысл человеческой свободы в возможности человека «возвышаться к сознанию безусловной своей сущности и тем самым к своей независимости от чего бы то ни было, кроме самого себя»²⁰⁴. Личность, согласно Чичерину, имеет метафизическое основание. Она синтезирует в себе настоящее, прошедшее и будущее. В трактов-

ке этого вопроса Чичерин расходился с Вл. Соловьевым, который исключал свободу воли из нравственной философии, ориентированной лишь на «разумную свободу»²⁰⁵.

Естественной предпосылкой и абсолютным условием развития человеческой цивилизации, согласно Чичерину, является свобода личности, гарантированная правом. В праве Чичерин различает два момента: субъективный и объективный. Субъективное право есть нравственная возможность, или сознание законности свободы что-либо делать или не делать. Объективное право — есть самый *закон*, определяющий эту свободу. Соединение этих двух сторон и дает общее определение права: «Право есть свобода, определяемая законом. Где нет свободы, там нет и права. Лицо, которому закон не предоставляет внешней свободы, находится в совершенной зависимости от чужого произвола и потому (себе) самому представляется совершенно бесправным. Таково положение раба»²⁰⁶. Закон применим к человеку в том смысле, что он может исполнять его, но может и нарушить, зная, однако, что понесет за это заслуженное наказание. На признании свободы основаны понятия вины и ответственности. Точно так же и нравственный закон обращается к человеку как свободному существу, добровольно исполняющему свой нравственный долг. И только на этом основано его нравственное и человеческое достоинство. Таким образом, свобода имеет двойственный характер: с одной стороны, человек свободен по отношению к обстоятельствам и самому закону, но с другой — он сам ставит пределы своему поведению и тем самым берет ответственность за свои поступки и все происходящее в мире.

В развитии идей европейского либерализма Чичерин признает институт частной собственности, рассматривая ее как основание свободы человека, залог его независимости и поприще предпринимательской активности. Собственность может быть только частной, неоднократ-

но настаивает Чичерин, ибо она создается трудом и сбережениями отдельных индивидов. Поэтому понятие общественной собственности является нонсенсом. Собственность это и есть капитал, капитализация, т.е. накопление и обращение в оборот *живого труда* и *талантов* частных лиц. И чем больше прослойка людей, обладающих капиталом и составляющих костяк гражданского общества, чем активнее их участие в общественных и государственных делах, тем выше гарантия политической свободы, замечает он.

Но даже государство не может претендовать на собственность граждан. Только в случае крайней нужды на основе договора и за справедливое вознаграждение возможно то или иное ограничение прав собственности в пользу общества с правом распоряжения ею государством. В работе «Собственность и государство» он сознательно заостряет эту проблему: «Вторжение государства в область собственности и стеснение права хозяина распоряжаться своим имуществом всегда должно рассматриваться как зло, которое по возможности должно быть устранено. Посягательство же со стороны государства на право собственности иначе как в случае нужды и за справедливое вознаграждение всегда есть насилие и неправда»²⁰⁷. Только экономическая независимость граждан обеспечивает обществу политическую независимость.

Предметом особого интереса ученого стало *отношение между гражданским обществом и государством*. Гражданское общество представляет собой совокупность различных объединений граждан, основанных на взаимном интересе, но сохраняющих свободу инициативы и действия, ограниченную лишь правовыми нормами, перед которыми все равны. Право, таким образом, выступает как форма внешней свободы, ограничивающей своеволие индивидов и ставящее их в равные отношения друг к другу и обществу в целом. Однако равенство перед законом отнюдь не означает выравнивания возможностей и

способностей индивидов, вытягивания одних и укорачивания других, как на прокрустовом ложе. Напротив, равная для всех свобода предполагает свободное развитие и реализацию самых разнообразных способностей и возможностей индивидов. И правда как нравственный критерий равенства состоит в том, чтобы каждому воздать свое (*suum cuique tribuere*).

Каждому *гражданскому порядку соответствует порядок политический*, который и представляет *государство*. Оно является высшей формой человеческого общежития, как бы надстраивающейся над другими союзами — семьей, гражданским обществом и церковью. По определению Чичерина, государство есть союз народа, связанного в одно юридическое целое, управляемое верховной властью для общего блага. Оно устанавливается затем, чтобы люди не истребили друг друга в борьбе за существование. Государство необходимо для того, чтобы привести враждующие силы к соглашению, укротить сильных и поддержать слабых, чтобы над частными интересами возвышался идеал общего блага, которому бы служили и те, и другие. На него возлагается и важная социальная функция. Оно призвано вносить поправку в «бесстрастно равнодушные» принципы конкуренции гражданского общества. Государство призвано компенсировать исходное, естественное и социальное, неравенство отдельных сословий, социальных групп и граждан в соответствии с принципом «перераспределительной правды», обеспечивая тем самым стабильность в обществе. Наконец, государство берет на себя функцию поощрения частной инициативы и талантов, направленных на общественное благо, вознаграждая достойных. В определенном смысле его можно рассматривать как страховую полис нации в целом, основанный за счет того, что каждый отдает часть своего достояния в «общую кассу» в целях гарантии от невзгод и случайностей. Однако гарантировать справедливость по отношению ко всем сосло-

виям, гражданским союзам и отдельным гражданам, а в случае опасной разбалансировки интересов общественного интереса может только *сильное государство*, обладающее авторитетом легитимности. Чем выше степень свободы в гражданском обществе, тем больше должна быть обеспечена власть — одно служит «поправлением» другого. При этом государство не должно поглощать и подавлять другие союзы. Оно возвышается над ними только во внешней сфере их взаимодействий, оставляя присущую им самостоятельность и самодеятельность в их собственной сфере. Однако при всем своем этатизме Чичерин исходит из принципа: «не лица для учреждений, а учреждения для лиц»²⁰⁸.

Согласно Чичерину, *человек* как носитель абсолютного начала сам по себе *имеет абсолютное значение*, и только в силу этого свойства он может быть признан свободным лицом. И именно поэтому *с ним непозволительно обращаться как с простым средством достижения каких бы то ни было внеположенных ему целей*. Этот тезис после Чичерина стал незыблемым основанием русского либерализма. Его различные частные определения могли меняться в зависимости от теоретических пристрастий или политической ситуации, но положение об абсолютной ценности человека всегда оставалось его краеугольным камнем.

Каждый европейский народ имеет свои особенности и, оставаясь европейским в силу исторических условий развития и культурных традиций, является английским, немецким, французским. Это тем более относится к русскому народу. Уже географическое положение России, ее этническая гетерономность, историческая необходимость объединения страны способствовали развитию не столько правовых отношений между свободными союзами, сколько авторитету власти, которая одна могла сплотить необъятное пространство и рассеянное по нему народонаселение в единое государственное тело.

И все же Россия не представляет исключения в общем развитии европейской цивилизации. Великую заслугу Петра I Чичерин видел в том, что он решительно вывел страну на путь европейского, общечеловеческого развития, ориентированного на активность личности в экономической, политической и духовной сферах. В этом же он видит смысл и тех Великих реформ начала царствования Александра II, которые окончательно направили россиян на общеевропейский путь развития.

В полемике со своими оппонентами из консервативного лагеря ученый подчеркивает необходимость либерализации всех сторон общественной жизни России и «увенчивающей ее» политической системы: «Не только распространение либеральных идей, которым никакие китайские силы не способны положить преграды, но и самая практическая необходимость ведет к водворению представительного правления. Государство, в котором задерживается общественная самодеятельность, не в состоянии тягаться со свободными странами, где все общественные силы развиваются на полном просторе и призываются к содействию общей цели. Поэтому когда среди народов, живущих общей жизнью, одни вступают на либеральный путь, они неизбежно увлекают за собою и других»²⁰⁹.

Переход к либерально-представительному государству Чичерин считал необходимым и неизбежным и для России, однако связывал его с *конституционной монархией*. Это послужило основанием критики его как со стороны левых радикалов, причислявших ученого к «охранителям», так и правых консерваторов, видевших в нем опасного радикала. Однако отношение ученого к будущему России было основано на глубоком изучении исторического прошлого и критического осмысления ее реального состояния. «Государство было исходною точкою всего общественного развития России с XV в. Возникшее на развалинах средневековых учреждений, оно

нашло вокруг себя чистое поле; не было мелких союзов, крепких и замкнутых; отдельные личности, бродящие с места на место и занятые исключительно своими частными интересами, одни противостояли новому общественному союзу. Главную задачу сделалось устройство государства, которое организовывалось сверху, а не снизу; нужно было устроить общий союз, а частные должны были служить ему орудием»²¹⁰.

Конечно, Чичерин прекрасно понимал, что говорить о гражданском обществе в России можно с большой натяжкой, а точнее, в смысле долженствования. Проблема *гражданского общества*, «среднего класса» была, можно сказать, камнем преткновения русского либерализма. Одни, подобно Чичерину, рассчитывали на то, что оно сформируется из той части дворянского сословия, которое сумеет преодолеть сословные предрассудки и обратиться к свободной созидательной деятельности. Другие возлагали надежды на разночинную интеллигенцию, которая явится связующим звеном между высшим сословием и народом. Купечество и промышленники, целиком зависевшие от государственных заказов и жаждавшие не столько свободы, сколько льгот и охранительно-протекционистской политики двора, и еще не проявили себя субъектом социальных реформ, в большой расчет не принимались. Но все же главным камнем преткновения на пути гражданского общества оставалось *крепостное право*, которое исключало из числа активных граждан огромную часть населения России — крестьян, а другую часть превращало в работорговцев. Нерешенность этой проблемы ставила под вопрос формирование гражданского общества в России.

Идея о том, что в России в силу ряда объективных обстоятельств все реформационные преобразования общества, в отличие от Европы, осуществляются «сверху», а не «снизу», красной нитью проходит через все позднейшие работы ученого. «Россия вовсе не была пригото-

на к либеральным идеям и учреждениям, оппозиции в ней нет, и правительству нетрудно справиться с отдельными лицами, которые осмеливаются возвысить свой голос; не встречая препятствий в народе, правительство привыкло делать, что ему угодно»²¹¹. В этих условиях *только конституционно ограниченная монархия может и должна «сверху» осуществить либеральные преобразования общества*. Начало таких преобразований Чичерин связывал с Великими реформами 1861 года. При этом, подчеркивал он, не следует возводить в абсолют ни одну из государственных форм: что хорошо для одного места и времени, то не пригодно для другого. С этой точки зрения и сама монархия в России имеет исторические пределы и рано или поздно должна прийти к народному представительству. Позже, в специальной работе на рубеже XX века ученый углубил эту проблему. «Законный порядок никогда не может упрочиться там, где все зависит от личной воли и где каждое облеченное властью лицо может поставить себя выше закона, прикрыв себя Высочайшим повелением. Если законный порядок составляет самую насущную потребность русского общества, то эта потребность может быть удовлетворена только переходом от неограниченной монархии к ограниченной. В этом и состоит истинное завершение реформ Александра II. Иного исхода для России нет»²¹².

Обращаясь к методам осуществления либеральных реформ, ученый неоднократно выступал против любых форм *насилия* на пути их реализации. «Подавление общественной самодетельности никогда не обходится даром, — писал он в канун революции 1905 г. — Если в обществе есть живые силы, то насильственное их стеснение кончается взрывом; если же правительству удастся окончательно их сокрушить, то и общество, и государство погружаются в состояние полного отупения, из которого может вывести их только внешняя катастрофа»²¹³. Одновременно Чичерин решительно выступает против

революционных форм экстремизма, пустившего глубокие корни в социалистической идеологии, ибо *революция не есть право, а нарушение всяческих прав*. И хотя иногда она может быть оправдана обстоятельствами — достигшим предела угнетением и обнищанием народа, — но никогда не может быть признана выражением правомерного образа действия. Революция неприемлема не только с точки зрения права, но и потому, что она вызывает деструктивную волну анархии и разрушений, отбрасывающую общество вспять. Единственным правомочным способом модернизации общества остается путь реформ, которые вводят либеральные общественные и политические институты с учетом сложившихся традиций и одновременно воспитывают людей, приучая их к созидательной работе, а не к ожиданию «распределительного рая».

Будучи современником Маркса и распространения марксизма в Европе и России, Чичерин, естественно, не мог пройти мимо, не высказав своего отношения к идее социализма и коммунизма. Распространение социалистических идей, возбуждая уравнивательные страсти народа, вызывает смуты и потрясения и тем самым сбивает с толку робкие умы, которые, видя его грозные манифестации, идут на поводу у распропагандированных социалистами масс. Однако социализм, как идеологию, считает Чичерин, не следует сводить лишь к заблуждению ума. Он составляет необходимый момент в развитии мысли, но момент по своему содержанию ложный, основанный на тотальном отрицании опыта, выработанного историей, во имя фантастического будущего, которое обретает форму жерелогической утопии. Вместе с тем социалистическая критика действительности указывает на темные стороны современного экономического быта и потому с ней необходимо считаться, подчеркивает он.

Ученый как бы проводит мысленный эксперимент, допуская возможность победы коммунизма, при котором наступит прокламируемое им «царство всеобщего равен-

ства». «Но так как природу уничтожить невозможно, то насильственно подавленная личность неизбежно проявится иным путем: она выразится в стремлении каждого пользоваться как можно более общественным достоинством, внося в него как можно менее со своей стороны. Чем недобросовестнее человек, тем легче это сделать. Тут в накладе будут не худшие, а лучшие элементы. Коммунизм, по меткому выражению Прудона, есть эксплуатация сильного слабым, и не в материальном только смысле, а также и в нравственном: это эксплуатация добросовестного недобросовестным»²¹⁴. Отсюда следует вывод о невозможности победы коммунизма. Но если даже допустить невероятное (ведь известно, что и утопии могут быть реализованы), коммунизм окажется экономически, социально и нравственно обреченным. «Едва ли можно представить себе что-нибудь ужаснее, как эксплуатация всего материального богатства страны и всего благосостояния частных лиц в пользу владычествующей партии. А к этому именно ведет социализм»²¹⁵.

Глава 2. Крестьянская реформа на пути к гражданскому обществу. Проекты и их реализация

2.1. Крестьянский вопрос

Основным вопросом на пути либерализации страны оставался крестьянский вопрос²¹⁶. Освобождение крестьян будоражило передовую общественную мысль со времен царствования Екатерины II и знаменитой книги Радищева, принимая форму утопических мечтаний и проектов, в реализацию которых мало кто верил. Но они сыграли свою роль: проблема была поставлена. Декабристы подхватили эту эстафету, но основной упор в их программах был сделан все же на политических свободах. И, пожалуй, только Н.И.Тургенев настаивал на приоритете решения крестьянского вопроса по отношению к политическим требованиям. «Недозволительно думать о политической свободе там, где несчастные не знают простой человеческой свободы». Уничтожение крепостничества, чему активно противился помещичий строй, он связывал с просвещенным самодержавием: «... только от этой власти мы можем ожидать уничтожения рабства, столь же несправедливого, как и бесполезного»²¹⁷. Но он оставался в меньшинстве: идеал политической свободы, как свободы вообще, кружил головы дворянским революционерам.

Первые заходы к решению крестьянского вопроса были предприняты уже в царствование Николая I. Наиболее дальновидные представители бюрократии, воспитанные в просвещенческой атмосфере предшествующего царствования, понимали, что крепостное право в условиях капиталистического развития Европы отбрасывает Россию в арьергард истории. Как свидетельствует придерживавшийся либеральной ориентации сенатор А.Я.Соловь-

ев, позже принимавший активное участие в разработке крестьянской реформы при Александре II и, в частности, подготовивший Историческую записку, уже при Николае был создан *первый секретный комитет* по крестьянскому вопросу. И уже на нем обозначились две модели разрешения крестьянского вопроса и соответственно две партии — либеральная и консервативная. Консерваторы признавали «справедливым» только тот способ, который утвердился в Остзейских губерниях, а именно, чтобы вся земля оставалась собственностью помещиков, а крестьяне получили бы лишь право личной свободы. В основном это были представители южных губерний, где земля и природные условия позволяли наладить товарное производство хлеба, используя для этого труд батраков, вчерашних крепостных, об условиях существования которых можно было бы уже не заботиться. Предлагаемая же либерально настроенным сановником еще александровской эпохи П.Д.Киселевым передача земли в пользование общинам по убеждению консерваторов может привести к отчуждению дворянских недвижимых имений и даже к зависимости помещиков от крестьянских обществ. Такие отношения, считали они, могут иметь самые губительные последствия для государства. Не от отдельных обывателей опасаться должно неповиновения, но от общин, которым дается политическое бытие. Сплоченные материальным интересом общинного владения землей, крестьяне обретут способность и силу неповиновения и сопротивления законным собственникам земли — помещикам. «Для упорочения власти правительства и общественного спокойствия не соединять, а разобщать должно силы материальные: *diride et impere*», — резюмирует Соловьев позицию консерваторов²¹⁸.

Дальнейшие усилия правительства были направлены на устройство *государственных крестьян*. Разработка этого проекта была поручена Киселеву. Для рассмотрения его проекта был создан *второй секретный комитет*.

Киселев разработал модель *обязанных крестьян*. Он исходил из того, что система фермерского хозяйства на основе аренды, сложившаяся в Англии, Ирландии и у нас в северо-западном, Остзейском крае вследствие освобождения крестьян без земли, неприемлема для центральных районов России, так как создаст огромный класс безработных и бездомных. Сложившаяся же во Франции, Швейцарии, Пруссии поземельная система, основанная на вотчинном праве крестьян на землю, возникла вследствие революционного переворота и потому тем более неприемлема для России. Взамен Киселев предлагал «среднюю линию» — *обязанных крестьян*, предполагающую право пользования крестьянских общин государственной землей за обязанность несения определенной службы и выплаты налогов в пользу государства.

Реформа Киселева затронула интересы только «казенных крестьян», т.е. крестьян, являющихся собственностью государства, но лично свободных, положение которых и без того было более благополучным, чем положение помещичьих крестьян. Реформа лишь незначительно улучшила их положение: она реорганизовала систему управления, подчинив его непосредственно Министерству государственных имуществ и введя некоторые основы самоуправления волостных общин. Тем самым возрастала роль бюрократического аппарата на министерском и губернском уровнях и соответственно падала роль помещиков. И все же учитывая, что государственных крестьян было около 20 млн., т.е. приблизительно столько же, сколько крепостных (25 млн.), а также сам факт реформы, следует признать, что *начало крестьянской реформы* было положено. И хотя отношение к ней «общества», т.е. тех же помещиков, было в основном резко отрицательное (согласно общественному мнению Киселев был зачислен в «красные»), но даже оно вынуждено было привыкать к самой идее необходимости дальнейших реформ. Несмотря на свою ограниченность этот

указ, как замечает Соловьев, «важен был в том отношении, что правительство с этого времени как бы признало невозможным безземельное освобождение крестьян, тогда как все предыдущие акты правительства признавали его единственно возможным»²¹⁹.

Вслед за этим были созданы еще четыре секретных комитета, на которых обсуждались частные вопросы «улучшения быта» помещичьих крестьян. На них обозначилась жесткая позиция консерваторов в отношении к крестьянскому вопросу, состоявшая в том, что ни с землей, ни без земли освобождение крестьян невозможно, что есть единственный путь — улучшения быта крепостных крестьян и постепенное ограничение крепостной зависимости. Тем самым еще раз была в категорической форме подтверждена «законность» крепостного права. Кажется, что после этого всякая мысль о скором освобождении крестьян была оставлена.

Европейские революции 48 г. усилили позиции крепостников и реакционно-консервативную политику власти. На время крестьянский вопрос удалось загнать вглубь, что подрывало стабильность системы изнутри. Но как бы ни велико было стремление консервативных сил спустить этот вопрос на тормозах, он все более становится предметом общественного мнения и публичного обсуждения, хотя и в завуалированной форме. Этому способствовал дух времени: распространение просвещения, путешествия русской либерально настроенной молодежи за границу, в том числе ее стажировка в европейских, в первую очередь германских, университетах. Этому же, но с другой стороны, способствовали и судорожные меры, предпринимаемые правительством в целях избежать больших потрясений. Общее число указов по крестьянскому вопросу за период царствования Николая I превышает 100. И хотя все они носили регулятивный характер и не затрагивали кардинальных проблем — права

собственности на землю и личность самого крепостного, — они подрывали понятие неприкосновенности крепостного права.

Новому возбуждению крестьянского вопроса способствовали, с одной стороны, напряжение всех сил нации в Крымской войне и позорное поражение в ней России, с другой — крестьянские волнения, инспирированные слухами о воле. «Правительство колебалось, в каждом данном случае, между желанием взять сторону крестьян и боязнью своими действиями возбудить их против помещиков. Помещики опасались и правительства, и крестьян. Словом, крепостное право начало расшатываться и с каждым днем становилось все более и более неудобным: и для крестьян, и для помещиков, и для правительства»²²⁰.

Поражение в Крымской войне русской армии, служившей оплотом и символом самодержавия на всем европейском континенте, списывалось одними на бездарность царствующего монарха, другими, более трезвыми, оценивалось как кризис системы в целом. И в первом, и во втором случае надежды связывались с приходом к власти наследника престола Александра II. В то время как крепостники тянули Россию назад, здравый смысл подсказывал, что спасти Россию можно только на пути либеральных реформ. Победа оказалась на стороне здравого смысла, признавшего необходимость либеральных реформ и в первую очередь освобождения крестьян от крепостной зависимости.

2.2. Проекты крестьянской реформы

Глашатаем начала реформы 1861 г. суждено было стать К.Д.Кавелину. Написанная им в 1855 г. «Записка об освобождении крестьян в России» ходила по рукам и имела большой публичный успех. Более того, хотя Каве-

лин не входил ни в какие властные структуры, его «Записка» сыграла определенную роль и в осознании необходимости крестьянской реформы высшим эшелонам власти. Этому способствовали его дружеские связи с видными правительственными сановниками — Н.А.Милютиным, Я.И.Ростовцевым, а также его известная близость ко двору.

Интерес к крестьянскому вопросу у самого Кавелина сформировался на основе двух источников: теоретического, как академического ученого западной ориентации, и практического, как помещика, вынужденного после смерти матери принять управление имением в свои руки. Свою деятельность на этом последнем поприще он начал с составления проекта улучшения быта собственных крестьян. Позже совместно с Милютиным он составил проект освобождения крестьян для Вел. кн. Елены Павловны, покровительствовавшей реформе. На этой почве и родилась его «Записка об освобождении крестьян».

В «Записке» Кавелина общественность увидела своего рода готовый ответ на горячие вопросы, поставленные общественным состоянием страны и требующие незамедлительного решения. По определению историка Б.И.Сыромятникова «Ответ» Кавелина явился *итогом* его жизни и вместе с тем *синтезом* всей предшествующей работы в том же направлении русской общественной мысли, которая уже со времен Радищева вынашивала в себе аболюционистскую идею» (от лат. — *aboleo* — отмена, уничтожение. — Л.Н.)²²¹. И хотя «Записка» Кавелина не отличалась особой оригинальностью, ее сила, по определению того же историка, заключалась в том, что он мастерски, сжато, а главное *вовремя* сумел сформулировать те идеи, которые уже витали в общественном мнении. Общественность увидела в ней увязанность, или консенсус, как бы мы сказали теперь, «видов» правительства и интересов государства с выгодами дворянства и крестьянства.

«Многие убеждены, что Россия по своим естественным условиям — одна из самых богатых стран в мире, — так начинает свою «Записку» Кавелин, — а между тем едва ли можно найти другое государство, где бы благосостояние было на такой низкой ступени, где бы меньше было капиталов в обращении и бедность была так равномерно распределена между всеми классами народа»²²². Краеугольный камень общего социально-экономического кризиса он усматривает в крепостном праве, незамедлительная отмена которого и комплексное решение крестьянского вопроса в целом может изменить ситуацию в стране и вывести ее из глубочайшего кризиса «на путь общечеловеческого развития». Основной удар своей критики автор «Записки» направляет против крепостного права частных владельцев, доказывая крайнюю разорительность его и для помещиков, и для крестьян, и для общества в целом. Более того, крепостное право таит в себе скрытую опасность для государства, как бы повторяет он предупреждение Радищева. «Россия осуждена окаменеть» до тех пор, пока «крепостное право будет составлять основу нашей общественной и гражданской жизни, ибо это гордиев узел, к которому сходятся все наши общественные язвы»²²³.

Решительно высказываясь за полную отмену крепостного права, Кавелин настаивает на политике «открытых дверей» при обсуждении его проектов и условий его реализации. Но эта «открытость» имеет в виду «общество», т.е. в первую очередь само дворянство, что же касается крестьянской массы, то по отношению к ней помещик-реформатор рекомендует постепенно «*нечувствительным образом*» приуготовлять ее к предстоящим реформам во избежание излишних притязаний крестьян. Однако, несмотря на эти сословные страхи и предостережения в своей «Записке», Кавелин впервые публично высказался за полное освобождение крестьян с землей путем единовременного выкупа у помещиков всей

земли, которая находилась в пользовании крестьян. Более того, он решительно настаивает, что «правительство ни под каким видом не может согласиться на увольнение крепостных без земли»²²⁴. Отстаивая принцип освобождения крестьян с землей, ученый выражал сложившееся общественное мнение либеральных кругов, доводя его до сведения как правительственных сфер, так и «общества».

Однако по мере развертывания программы реформы усиливалось давление на ее инициаторов со стороны крепостников, которые подчас апеллировали к аргументам, используя лексикон либералов, ссылаясь на *законность* своего владения землей, которую никому не дозволено нарушать. Под давлением этих кругов Кавелин пошел на определенные уступки, допуская возможность освобождения крестьян по *добровольному согласию* между заинтересованными сторонами — землевладельцами и их крепостными — с землей или *без земли*, с тем, чтобы по возможности «не нарушать материальных интересов владельцев». Более того, исходя из «законных интересов владельцев», он склонялся даже к мысли выкупа не только надела, но и личной свободы надельных крепостных по существующим на местах ценам. Ориентация на землевладельцев объясняется не только давлением с их стороны, но отчасти и довольно распространенным убеждением, что именно владельческий, т.е. дворянский класс, как самый образованный, призван сыграть в России роль *среднего сословия*. Не без влияния славянофилов Кавелин верил, что основанием здания гражданского общества новой России должны стать самодержавный царь, дворянство как среднее сословие, поставленное на страже всенародной пользы, и «мужик» с его верой в «русского царя».

Колебания Кавелина коснулись и тактики проведения реформ. Первоначально он был сторонником быстрого и единовременного осуществления реформ. Так в

письме к Герцену он убеждал своего адресата и, по-видимому, самого себя, что реформа должна быть осуществлена сразу: «Вдруг! именно вдруг — должна быть совершена реформа. Этого требуют обстоятельства, а главным образом такая реформа самая разумная и самая правильная»²²⁵. Однако в 6 разделе Записки он уже ставит под сомнение вопрос, «благоразумно ли начать вдруг, разом, выкуп крепостных на всем пространстве государства?» и высказывается за постепенное в виде «опыта» освобождение крестьян²²⁶.

В своей речи, посвященной двадцатилетнему юбилею реформы разочарованный Кавелин сетовал: «Кто из нас не верил горячо, что отмена крепостного ига даст нашему крестьянству материальное довольство, вызовет экономическое процветание, подъем народных сил, сознания личности и прав, разовьет просвещение и нравственность, словом — принесет с собою все блага гражданской свободы. Сближение и тесное единение двух слоев русского народа, разоренных рабством, разве не должно было быть необходимым строго-логическим последствием его прекращения? А что вышло на самом деле? Едва успели Положения 19 февраля 1861 года стать законом, как дух их отлетел, и осталась одна буква; но и самая буква их, где только было возможно, объяснялась в ущерб, а не в пользу миллионов новых русских граждан; административная практика не стеснялась и буквой, чтобы помешать им воспользоваться их законными правами»²²⁷. Оценка Кавелина была не совсем адекватной реальности, просто ученый-романтик не хотел считаться с тем, что реальность всегда прозаична. Его колебания, послужившие основанием разрыва с Герценом, свидетельствуют лишь об обостренной социальной ситуации, в которой протекала подготовка, а позднее и реализация крестьянской реформы. Более того, они являются свидетельством вообще трудности осуществления *любых радикальных реформ*, которые пишутся отнюдь не

на «чистом листе бумаги», а в условиях инерционного сопротивления реформируемых институтов и отношений и активного противодействия заинтересованных в сохранении старого режима сил. С учетом этих обстоятельств и следует оценивать результаты реформ и роль в их подготовке и реализации конкретных деятелей. Именно с этих позиций оценивает роль Кавелина в подготовке крестьянской реформы автор аналитического очерка, посвященного его деятельности, Б.И.Сыромятников. «И каковы бы ни были ошибки и увлечения Кавелина в «святом деле» 19-го февраля, бескорыстный подвиг его жизни навсегда будет вписан яркими буквами в летописи освободительной эпохи»²²⁸.

Близкую позицию в крестьянском вопросе занял и Б.Н.Чичерин. Во 2-ой книжке «Голосов из России» была опубликована его статья «О крепостном состоянии», в которой он обращает внимание на роль государства, подчеркивая, что оно, будучи органом общества в целом, призвано корректировать исторический процесс, устраняя искусственные препятствия на пути его прогрессивного развития. Осознав это, Екатерина Великая освободила от крепости дворянство и купечество. Ныне со всей остротой, считал теоретик либерализма, встал вопрос об освобождении крестьян, ибо крепостная зависимость не только противоречит естественным правам человека, но уродует, деформирует весь общественный строй снизу доверху²²⁹. Так же, как и Кавелин, Чичерин ратовал за выход России на общечеловеческий путь общественного развития.

В этом же издании в статье «Современные задачи русской жизни» Чичерин, отталкиваясь от своего понимания либерализма, впервые поставил вопрос о том, что эмансипация крестьян является лишь прологом развернутой программы либерального преобразования общества в целом. Отмечая, что слово «либерализм» стало расхожим понятием, он задает риторический вопрос, что

должно разуметь под словом «либерализм»? «Свобода — слово неопределенное. Она может быть и безграничная, и ограниченная, и если безграничной свободой допустить нельзя, то в чем же должна состоять свобода ограниченная? Одним словом, какие меры должно принять либеральное правительство и чего должна желать либеральная партия в обществе?»²³⁰. Среди главных начал, которые вытекают из понятия о либерализме, философ-правовед выделяет ряд первостепенных свобод, «необходимых для благоденствия России». Среди них: «свобода совести», как первое и священнейшее право гражданина; «свобода от крепостного состояния, одно из величайших зол, которым страдает ныне Россия»; «свобода общественного мнения»; «свобода преподавания и книгопечатания»; «публичность всех правительственных действий»; «публичность и гласность судопроизводства»²³¹.

2.3. Роль власти в осуществлении реформ. Власть и общественность²³²

И все же решающая роль в осуществлении либеральных реформ принадлежала, как это и предвидел Чичерин, императорской власти Александра II и либеральной части его бюрократического аппарата. Менее чем через 6 лет после вступления на трон Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян, чем, по выражению Чичерина, «совершил величайшее дело русской истории»²³³. И хотя Александр, по замечанию другого историка либеральной ориентации — А.А.Кизеветтера, не был творцом самой идеи уничтожения крепостного права, но именно «ему принадлежала решимость признать *бесповоротную неотложность* этой столь давно уже назревшей реформы»²³⁴. Он сумел собрать и вдохновить команду соратников-единомышленников из крупных политических деятелей правительственного аппарата,

таких, как Я.И.Ростовцев, С.С.Ланской, Н.А.Милютин, Я.А.Соловьев и др. Ему же принадлежит осуществление непрерывного общего контроля, благодаря чему реформа не была спущена на тормозах ее противниками. Наконец, заслуга Александра состояла и в том, что он, начав, как было задумано, с крестьянской реформы, понял необходимость осуществления широкой *социальной программы либеральных реформ* и других сфер, придав тем самым им системный характер.

В деятельности царя-освободителя просматривается любопытный исторический парадокс, не оставшийся не замеченным современниками. Прежде всего, отношение к самой личности и деятельности Александра оставалось весьма противоречивым, если не сказать парадоксальным, что отчасти обусловлено характером самого императора. Тот же Кизеветтер отмечает, что, будучи наследником престола, он не раз выражал свою нерасположенность к реформам, что порождало двусмысленность в отношении к нему при воцарении на престол: крепостники ждали от него «восстановления порядка», либералы связывали с молодым царем свои надежды на осуществление реформ. Однако независимо от слабости своего характера и несмотря на жесткое давление на него со стороны помещиков-крепостников и реакционного ядра бюрократического аппарата, с одной стороны, и террора, развязанного против него левыми экстремистскими силами, — с другой, император Александр выбрал единственно правильный путь — путь либеральных реформ. В этом современники усматривали кто «перст таинственной судьбы», кто предначертания «великого русского Бога», а кто, под влиянием А. Смита, «незримую руку» истории. Любопытно, что и Чичерин, видевший в Александре вполне ординарную натуру, замечает, что «он мог служить примером того, что Провидение для совершения величайших дел употребляет иногда весьма

обыкновенные орудия. Когда вопрос созрел в общественном сознании, для решения его не нужно гения; достаточно человека благонамеренного и здравомыслящего»²³⁵.

Александр, возможно, после некоторых колебаний, придал крестьянскому вопросу *гласность*, открыто заявив на встрече с представителями дворянства 30 марта 1856 г., что лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели дожидаться, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу. В развитие этой идеи в записке Министерства внутренних дел от 7 апреля 1856 г. хотя и оговаривалось бесспорное право помещиков на землю, но далее замечалось, что освобождение крестьян на основе этого права ведет к превращению миллионов людей в бесприютных бродяг, париев, что чревато социальными катаклизмами. «Правительство обязано пеших об общем спокойствии и противиться тому, что может нарушить оное, обратив миллионы людей в бесприютных бродяг»²³⁶. Таким образом, и в данном случае вопрос получил двойственное толкование: *право собственности помещика на землю и личность крепостного бесспорно*, но в то же время *крепостные должны быть освобождены с землей*.

При любом подходе освобождение крестьян лишало помещичье хозяйство основного орудия производства и грозило разорением хозяйства. В целях решения этой двойственной проблемы были выдвинуты две идеи: идея *усадебной оседлости* и *временной обязанности*. Первая предполагала наделение крестьян усадебной землей (дом, подворье, огороды, конопляник), которая привязывала бы крестьянина к месту и понуждала идти в наем (за аренду пашни) к тому же помещику. В уплату за усадьбу крестьяне на 10—15 лет переводятся в статус «*временно обязанных*», хотя и объявляются лично свободными, «дабы потом окончательно освободиться». На переходный период в пользовании крестьян оставалась часть пахотной земли за оброк или за барщину. Усадебная оседлость

имела обязательный характер, тогда как право пользования землей должно быть основано на добровольном договоре землевладельца и земледельца.

Одной из идей, подсказанных Александру Н.А. Милютиним, была идея привлечения дворянства к разработке проекта реформы, чтобы тем самым, с одной стороны, преодолеть его оппозиционность, а с другой — развязать инициативу наиболее здравомыслящих его слоев. Эта идея была воспринята и позволила сдвинуть дело с мертвой точки.

Поворотным моментом в развитии крестьянской реформы стал рескрипт *20 ноября 1857 г.* на имя губернатора северо-западных губерний В.И. Назимова. В нем в ответ на высказанную готовность остзейских помещиков начать освобождение крестьян (но без земли) поддерживалась их инициатива, но настаивалось на необходимости земельного обеспечения освобождаемых крестьян. Предписывалось также открыть губернские комитеты для подготовки проектов крестьянской реформы с учетом местных особенностей. Данный рескрипт по инициативе Ланского был разослан по всем губерниям. И хотя условия освобождения крестьян в нем были прописаны весьма неопределенно, именно им дело крестьянской реформы было предано *гласности и предписано к исполнению*. С этого момента подготовка и принятие крестьянской реформы приобрела необратимый характер.

Вместо секретного комитета, только тормозившего дело, был образован «Главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и предположений о крепостном состоянии». Под нашим авторитета императора повсеместно стали открываться губернские комитеты по подготовке проектов реформы. Таким образом, дворянство через свои губернские собрания было вовлечено властями в обсуждение предположений по крестьянской реформе «исходя из местных условий», но на основе положений, сформулированных в рескрипте.

В результате появилась целая серия записок, проектов, для обобщения которых в 1859 г. были образованы Редакционные комиссии под руководством пользовавшегося личным доверием императора Я.И.Ростовцева, который сумел сформировать команду единомышленников — либерально настроенных сторонников реформы. В лице Я.И.Ростовцева как бы скрестились два века, два стиля мышления: ушедшего в прошлое в декабре 1825 г. романтического века «просвещенного абсолютизма» и века прагматического решения кричащих социальных противоречий. По определению одного из участников и разработчиков крестьянской реформы, Ф.П.Еленева, у Ростовцева появилась весьма драгоценная во всяком государственном человеке черта: он «думал *об Истории*, верил в ее верховный суд, *мечтал* о почетной для себя странице на ее свитках»²³⁷.

Однако его беда, а вместе с ним и всей России, состояла в том, что при всем своем искреннем желании послужить Отечеству и оставить след в Истории, он был не подготовлен к решению столь важной государственной задачи. Не имея даже личного опыта хозяйственной деятельности (он не имел поместий) Ростовцев пребывал некоторое время в растерянности, но в отличие от своих коллег оказался способным к обучению. При комиссиях по поручению Ростовцева была собрана обширная библиотека по вопросу на русском и иностранных языках. Однажды на заседании комиссии он сообщил, что из III Отделения будет присылаться экземпляр «Колокола» и обратился к присутствующим: «Я буду вас просить, чтобы вы и из «Колокола» заимствовали и приняли в соображение все, что только может быть полезно и применимо к исправлению наших трудов и усовершенствования проекта положений». В ответ на недоуменный вопрос одного из членов комиссии «Как, неужели заимствовать у Герцена?», он отпарировал: «Что нам за дело до личностей! Кто бы ни сказал полезное, мы должны вос-

пользоваться»²³⁸. Ростовцеву не пришлось завершить начатое дело. Он умер за год до провозглашения реформы. Последние его слова, сказанные Александру, были: «Государь! Не бойтесь».

Значение возглавляемых Ростовцевым Редакционных комиссий состояло в том, что это была новая форма общения правительства с общественностью. Основная полемика Редакционных комиссий с крепостниками в центре и с мест развернулась по вопросу об освобождении крестьян *с землей или без земли*. Последние настаивали на исключительном праве собственности на землю с прикрепленными к ней крестьянами в соответствии с Манифестом о вольности дворянской 1762 г. и Жалованной грамоты дворянству 1785 г. Они обвиняли «либералов» в том, что они нарушают исконные права дворянства. Как разъяснял Ростовцев, с точки зрения гражданского права вся реформа с начала до конца несправедлива, ибо она есть нарушение права частной собственности, но как необходимость государственная и на основании государственного права эта же реформа законна, священна и необходима. И с этим ни консерваторы, ни либералы, отстаивающие примат права перед политикой, не могли не считаться. Вместе с тем, согласно обычному праву крестьянин прикреплен к земле, т.е. земля находится в его *пользовании* и отнять у него землю — значит лишить его средств к существованию, нарушить естественные права человека. Отсюда и вытекала идея выкупа крестьянами земли при поддержке государства.

Мозговым центром Редакционных комиссий стал Николай Александрович Милютин, у которого не стеснялись учиться ни министр внутренних дел Ланской, ни председатель комиссий Ростовцев. Милютин был убежденным сторонником «реформ сверху». Поэтому его не увлекали «игры» конституционалистов, а претензии дворянских комитетов на особую роль в осуществлении реформ вызывали лишь раздражение, за что его ославили

как ярого противника общественной самодеятельности. На самом деле он, как отмечает Кизеветтер, был решительно против отождествления *общества с дворянством*, против исключительного права дворянства говорить от имени общества. Вместе с тем он прекрасно понимал, что *осуществление реформ предъявляет высокие требования как к власти, так и к населению, предполагая их сотрудничество*. Эта его позиция явно обозначилась при первоначальной подготовке земской реформы. Не вина Милютина, что он был отстранен от участия в проведении земской реформы, и разработка ее была поручена консерваторам. Однако несомненен его вклад в разработку крестьянской реформы. Его заслуга в том, что она не стала хуже, чем могла бы быть. В потоке губернских проектов реформ, составленных, как правило, в сословно-охранительном духе, он умел отбирать и доводить до логического завершения наиболее ценные идеи и предложения.

Основная полемика развернулась и по вопросу материального обеспечения крестьян. Редакционная комиссия во главе с Ростовцевым исходила из стремления сохранить в основном существующую систему землепользования. Ее нарушение в ту или другую сторону могло вызвать жесточайший экономический кризис. Это означало сохранение в той или иной форме за крестьянами тех наделов, какими они пользовались при крепостном праве. Однако этому воспротивились помещики, особенно черноземных губерний, где земля была дорога, а труд земледельца дешев. Идя на компромисс, комиссия выработала нормы высших и низших наделов применительно к каждой местности. Наделы, превышающие эти пределы, могли быть урезаны. Напротив, наделы, не достигающие низшей нормы, должны быть расширены за счет помещичьей земли. Нормы, предложенные Редакционной комиссией, намного, почти вдвое превышали нормы, предлагаемые губернскими комитетами, что, как предполагалось, позволит сохранить стабильность в обществе.

К концу 1859 г. Редакционная комиссия закончила предварительную подготовку общих положений реформы. К этому времени в Петербург были приглашены депутаты от губернских комитетов для обсуждения местных условий, как было подчеркнуто властями, опасавшимися оппозиции дворянства. Среди множества деятелей на этой стезе, в основном защищавших сословные интересы, своим ясным последовательно либеральным подходом к решению проблемы выделялся предводитель тверского дворянства, возглавивший губернский комитет по подготовке реформы А.М.Унковский. Избранный предводителем дворянства Тверской губернии он в качестве должностного лица подключился к выработке предложений по крестьянскому вопросу, заняв последовательно либеральную позицию, сумел склонить к ней большинство гласных.

А.М.Унковский был первым, обратившим внимание на роковые противоречия основ рескрипта, которые во многом предопределяли дальнейшую судьбу крестьянской реформы²³⁹. Основное противоречие рескрипта он усмотрел в придуманном (по-видимому, крепостниками) понятии «усадебная оседлость». *Обязательный для крестьянина выкуп* усадьбы (дом+двор) привязывал его к месту, не обеспечивая земель, необходимой для существования. Тем самым крестьянин попадал в полную зависимость от землевладельца, который мог навязать ему либо новый вид барщины, либо аренду необходимой земли за произвольную цену, так как искусственно привязанный к усадьбе крестьянин не мог уйти на поиски лучшей доли. Мало того, власть помещика над крестьянином закреплялась переданной в его руки функции вотчинной полиции. Таким образом, если следовать букве и духу рескрипта, крестьянин, «освобожденный» от крепостной зависимости, которая все же включала и некоторые обязательства помещика по отношению к нему, оказался бы перед лицом полного произвола. «Объявить народ свободным, оставив его почти в той же неволе и не

улучшая его быта, по нашему мнению, хуже, нежели оставить его в крепостной зависимости», — смело заключает он по поводу высочайшего царского рескрипта²⁴⁰.

Унковский не только раскрыл основные противоречия рескрипта, но и сумел найти выход из скрытой в нем «ловушки». Он считал недопустимым освобождение крестьян без земли и в соответствии с этим дал расширительное толкование «усадебной оседлости»: усадьба является центром надела, включающего пашню, выгон, покосы и т.п. Тем самым он вплотную подошел к идее хуторского хозяйства, реализовать которую позднее попытается П.А.Столыпин. Выкуп «усадебно-надела» единовременный и *обязательный* для помещика при контроле и поддержке государства, согласно мнению Унковского, позволит полностью развязать узел крепостнических отношений, освободив крестьянина от крепостной зависимости передачей ему земли в полную собственность. В свою очередь денежная компенсация помещику за утрату части собственности на землю и привязанную к ней рабочую силу вчерашнего крепостного позволит ему перевести свое хозяйство на новые — *капиталистические* — начала.

В своей программе Унковский исходил из основополагающей идеи либерализма о свободе личности, основанием и материальным обеспечением которой является частная собственность. Это важно подчеркнуть, потому что в марксистской социальной доктрине либералам инкриминировалось своекорыстие в признании неизбежности помещичьей собственности и продиктованного этим выкупа крестьянского надела. Но, заметим здесь, во-первых, положение о вознаграждении помещика за отчуждаемую от него в пользу крестьянина надельную землю не оспаривалось в то время никем, в том числе и Герценом в его проекте освобождения крестьян, весьма близким по своему содержанию к проекту Унковского²⁴¹. И во-вторых, принцип неизбежности помещичьей собственности соответствовал правовому статусу тогдашнего

общества. Она была закреплена за помещиками Жалованной грамотой дворянству и признана обычным правом. С другой стороны, согласно обычному же праву крестьянин прикреплен к земле, т.е. земля находится в его *пользовании* и отнять у него землю — значит лишить его средств к существованию, нарушить естественные права человека. Отсюда и вытекала идея выкупа, обязательная для помещика. С либеральных позиций Унковский критиковал и предположения по административному устройству крестьян, так как оно сохраняло сословный принцип, ибо волости предполагалось создавать из одних крестьян.

Позднее, когда редакционные комиссии подготовили сводные проекты закона, Унковский еще раз выступил с их критическим анализом в «Соображениях по докладам Редакционных комиссий», напечатанных Герценом в последней 9-ой книжке «Голосов из России». Здесь он подчеркивал, что крестьянский вопрос как ключевой в серии преобразований гражданского общества невозможно решить, пока сохраняется современная система управления, основанная на крепостном праве и пронизанная снизу доверху произволом, «Система управления, или лучше сказать злоупотребления властью, — по словам Унковского, — так сильна и последовательна, что она покрывает собою всю Россию, не оставляя ни одного живого места для разумно свободной жизни. При этой системе нигде нет права и господствует один низкий, необузданный произвол, уважающий только деньги и общественное положение. При ней если и встречаются на службе благородные личности, то они ничего не могут сделать. При хорошем и дурном начальнике губернии идет за ничтожным изъятием один и тот же порядок /.../. Дело в самой системе управления, — заключает он, — а не в ее применениях»²⁴².

2.4. Манифест 19 февраля 1861 г. Его социально-политическое значение

Смерть Ростовцева, служившего своеобразной преградой между консерваторами и императором, нанесло существенный урон делу либерального завершения реформы. Это проявилось в первый же момент, когда вместо него на пост председателя Редакционных комиссий был назначен престарелый гр. Панин, типичнейший представитель консерватизма николаевских времен, законник-буквоед. Это назначение символизировало подмеченный Герценом очередной «зигзаг» в политике императора «слева-направо». На фоне развернувшихся придворных интриг и страстей, кипевших в губернских дворянских собраниях, по свидетельству современников, только народ сохранял великую выдержку и терпение. «Эта стихийно-грозная и внушительная, несмотря на безмолвие, всенародная демонстрация, — при всей кажущейся безобидности и бессилии дававшая понять, кому нужно, что отныне с крестьянским вопросом шутить нельзя и во что бы то ни стало нужно решить в народном духе, т.е. не иначе как с земельным наделом, — имела огромное влияние на исход дела», — пишет либерально настроенный исследователь проблемы Г.Джаншиев²⁴³. Ту же мысль разделяет и М.Е.Салтыков-Щедрин: «Вникните в смысл этой реформы, в историю ее утверждения, — обращался он к современникам, — и вы убедитесь: во 1-х, что, несмотря на всю забитость и безвестность, *одна только* эта сила (народа) и произвела эту реформу, и во 2-х, что, несмотря на неблагоприятные условия, она наложила на реформу неизгладимое клеймо свое, успела найти себе поборников даже в сфере ей чуждой»²⁴⁴.

Ожидание реформы слишком затянулось — напряжение достигло критической точки, и это почувствовал Александр, повелевший закончить подготовку реформы и сопровождающий ее манифест к началу года. Редак-

ционные комиссии закончили свою работу и были закрыты 10 октября 1860 года. Все дела по завершению и осуществлению реформы перешли к Главному комитету. 5 февраля 1861 был составлен проект Манифеста, к этому же времени были подготовлены «Основные положения закона». 19 февраля 1861 года в шестую годовщину своего восшествия на престол Александр II подписал Манифест. Но история крестьянской реформы на этом не закончилась. *Страх*, охвативший императора и придворную клику, породил абсурдистскую ситуацию: вместе с секретной публикацией Манифеста, который должен был возвестить «светлый праздник» русского народа, власти поставили на ноги всю полицию, придав ей войска и на всякий случай заготовили на съезжих дворах больших городов розги. О сроках объявления свободы была специально запущена дезинформация. Академик и цензор А.В.Никитенко в своем дневнике под 18 февраля записал: «Умы в сильном напряжении по случаю крестьянского дела. Все ожидали Манифеста о свободе 19 числа. Потом начали ходить слухи, что он на время отлагается. В народе возбудилась мысль, что его обманывают»²⁴⁵.

Обнародование Манифеста произошло 5 марта в Православный праздник прощенного воскресенья. Либеральные круги столичной интеллигенции из опасения обмануться в своих ожиданиях восприняли провозглашение Манифеста как светлый праздник. Даже Герцен сетовал на то, что в этот торжественный день не может быть в России с народом. Народ же «безмолвствовал»: во-первых, сказалось слишком затянувшееся ожидание и, во-вторых, Манифест был написан таким квазидюрократическим языком, что ни понять смысла, ни просто почувствовать радости по случаю освобождения простому человеку было невозможно. В недоумении находилась и пресса. По выражению И.С.Аксакова, слышно было одно лишь молчание на всех языках.

Но ошеломление первых дней освобождения прошло. Наступали будни. Всем слоям общества надлежало разобраться, *к чему же оно пришло и что делать* дальше? Одними из первых отреагировали на Манифест крепостники, добившись отставки основных разработчиков реформы — Милютина и Ланского. Однако повернуть историю вспять было уже невозможно. Как бы ни оценивать Манифест 1861 г. — это была *крестьянская реформа*.

Манифестом 19 февраля 1861 г. провозглашалась *отмена крепостного права навсегда*. Вчерашние крепостные уравниены в своих правах, как личных, так и имущественных, со свободными сельскими обывателями. С этих же принципов начинался основной юридический документ «Общие положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»²⁴⁶. Так в ст. 1 провозглашалось: «Крепостное право на крестьян и на дворовых людей отменяется навсегда». Ст. 2 определяла гражданский статус вчерашних крепостных: «...вышедшим из крепостной зависимости предоставляются права, состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу». Однако уже в ст. 3 утверждалась *собственность помещиков на все принадлежащие им земли*. Правда, в этой же статье оговаривалась обязанность помещиков предоставить за *установленные повинности в постоянное пользование* крестьян их усадьбную оседлость (дом, двор, огороды, гумно, конопляники) и сверх того земельный надел, необходимый «для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством (выплата подушной подати и др. налогов) и помещиками». Причем усадьбную оседлость крестьянин имел право выкупить по цене, установленной законом, и помещик *обязан был* принять выкуп (ст. 11), зато выкуп полевого надела зависел всецело *от согласия* помещика и только в этом случае становился правомочным. За отведенный надел, размеры которого оговариваются Местными положениями, крестьяне обязаны отбывать в

пользу помещиков повинности работой (та же барщина) или в денежной форме (ст. 4.). Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в обязательных отношениях к помещикам, получили наименование *временно обязанных* крестьян (ст. 15). С выкупом крестьянином усадебной оседлости и земельного надела в собственности прекращаются все обязательные поземельные отношения между помещиком и крестьянином (ст. 12). Поскольку крестьянин, за редким исключением, не мог сразу выплатить всю сумму, выплату в долг брало на себя правительство, выдавая помещику процентные бумаги с погашением долга крестьянином в рассрочку на 49 лет (так называемая выкупная операция). Помещик мог предупредить выкуп надела, предоставив крестьянину надел даром, но в значительно меньшем, чем предусмотрено законом, размере. Тем самым он вознаграждал себя тем, что оставлял за собой значительную часть земли, что было особенно существенно для плодородных земель. Крестьяне иногда обольщались на «дармовой» надел, но эта выгода была временной: она не покрывала расходов на воспроизводство семьи. Дворовые люди тоже получали свободу, но без земли, так как они ею не пользовались и ранее. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие в собственность земельные угодья, составляют по делам хозяйственным *сельские общества*, а для административного управления и суда соединяются в волости (ст. 17). Однако до прекращения обязательных отношений крестьян за помещиками сохраняется право вотчиной полиции (ст. 18). Хотя приоритет в «Общих положениях» отдается «сельскому обществу», общине, однако за каждым крестьянином сохранялось право выхода из нее. Существенной для понимания перемен, произошедших в положении крестьян, является ст. 33, которая гласит: «Каждый крестьянин может приобретать в собственность недвижимые и движимые имущества, а также отчуждать оные, отдавать

их в залог и вообще распоряжаться ими с соблюдением общих узаконений, установленных на сей предмет для свободных сельских обывателей». Ст. 36 идет еще дальше в этом направлении. В ней утверждается, что «каждый член сельского общества может требовать, чтобы из состава земли, приобретенной в общественную собственность, был ему выделен в частную собственность участок, соразмерный с долей его участия в приобретении сей земли». Правда, в данном случае речь идет не об отчужденной у помещиков надельной земле, которая в течение 9 лет не может быть продана или заложена, а о приобретенной общиной земле. Однако в ст. 159 дается разъяснение, что по окончании выкупа надельной земли она также должна рассматриваться как частная собственность по общим нормам Российского гражданского права. В этих статьях В.В.Леонтович усматривает *экономическое основание свободы* вчерашних крепостных, ибо без экономического основания, все благие пожелания реформы оказываются фикцией²⁴⁷. И не случайно именно против них ополчилась реакция царствования Александра III целой серией контрреформ, которые надолго затормозили развитие гражданского общества в России.

Таким образом, несмотря на целый ряд оговорок в пользу помещиков — это была все же *крестьянская реформа*. Крестьянин обретал права свободного человека, он не мог быть подвергнут наказанию иначе, как по суду (ст. 25). Он не мог быть лишен прав состояния или ограничен в этих правах иначе, как по суду или приговору общества (ст. 30). И сам крестьянин уравнивался в своих правах с другими податными сословиями. Серьезные нарекания со стороны либералов вызвало решение материальной стороны крестьянского вопроса, в частности нормы наделов, повлекшие за собой практику отрезки в пользу помещика части надела, ранее бывшего в пользовании крестьян, обременительность выкупных платежей, затяжной характер завершения реформы и т.п. «Но в

правовом отношении, — подчеркивает А.А.Корнилов, — крестьянская реформа была, без сомнения, колоссальным шагом вперед во всей новейшей русской истории. Упразднив крепостное право над личностью крестьянина, он открыла широкий путь к полному освобождению народа»²⁴⁸.

«Совершилось действительно великое дело, — свидетельствует в частном письме современник и участник реформы И.С.Аксаков, — крепостного права уже не существует, оно вычеркнуто из законодательства и из жизни. Только теперь возможны реформы и движение вперед самого народа, и он двинулся, тронулся, как вешний лед. Через полгода вы его не узнаете. Как *они* ни недовольны *положением*, но выберут из него, поверьте, все, что послужит к их выгоде; и проникнутся сознанием своих прав. Во всяком случае, мне сдается, что народ проснулся и инстинктивно чувствует, что он призывается к действию, что его черед наступать, и спешит вооружиться, запасается деньгами и грамотой»²⁴⁹.

Крестьянская реформа меняла или требовала смены всех форм общественной жизни и не только крестьян, но всего общества, ибо крепостное право обуславливало все стороны общественной жизни, оно было ее телом, скованным цепями, тормозившими развитие общества. По справедливому замечанию акад. В.П. Безобразова, важно было не то, что над 20-ю миллионами душ тяготело крепостное право, важно было его общее растлевающее значение *для всего населения*. Пока существовал указанный произвол одного лица всего только над 20-ю душами, не могло быть и речи о водворении *права* в России²⁵⁰.

2.5. *Общая диалектика развития реформ*

Анализ крестьянской реформы представляет не только научно-исторический, но глубокий социально-философский интерес. Во-первых, как бы мы ни оценивали

ее результаты, могла ли она быть лучше, или хуже, несомненно одно, что она знаменовала, пусть трудный и противоречивый, *переход от сословного к гражданскому обществу*. Одно это позволяет оценить ее как *социальную революцию*, осуществленную «сверху». Во-вторых, крестьянская реформа затрагивала самые существенные, жизненно важные интересы *всех сословий*, а потому она протекала в условиях острой социально-политической борьбы от консервативных плантаторов до радикальных революционеров, действующих «во имя народа» и потому особенно безрассудно опрометчиво. Либеральное направление в этом противостоянии испытывало на себе сильное давление как справа, так и слева, но полно было решимости довести реформу до логического конца и в силу этого вынуждено было идти на компромиссы. К тому же, как во всякой реформе, конец ее не мог быть определен заранее. Однако в этом противостоянии заинтересованных сил непосредственно *не было представлено основное лицо — крестьянин*, или как его позже назовет Т. Шанин «Великий немой». Даже радикальные революционеры, клявшиеся его именем, стремясь облагодетельствовать его, сделали все, чтобы сорвать реформы. В-третьих, можно, конечно, говорить об односторонности реформы ее *незавершенности*, но вот уже прошло 140 лет со дня обнародования Манифеста, прошло три революции «снизу» и одна «перестройка», или как ее можно охарактеризовать «революция сверху», и ныне мы стоим в преддверии каких-то новых контрреформ, а *крестьянский вопрос*, то есть *вопрос о земле* как средстве производства и самого существования земледельцев, *остается до сих пор нерешенным*. В-четвертых, как показал опыт *Великих реформ* 60—70-х годов социальная революция, основанная на смене собственности и радикальном изменении социальной структуры общества, предполагает ее политическое завершение и закрепление, или что на тогдашнем языке обозначалось как «завершение здания».

Александр-реформатор, взявший на себя ответственность за осуществление реформ, понимал это вопреки сомнениям Александра-самодержца. И все же логика здравого смысла победила в нем. Но импровизация истории судила иначе.

Социально-философская реконструкция крестьянской и других связанных с нею реформ, как самых радикальных в истории России, позволяет построить прогностическую модель реформ, осуществляемых сверху и тем самым выявить общую логику их реализации.

Проведению реформ предшествует более или менее длительный период их *ожидания*. В России ожидание крестьянской реформы началось с Манифеста о вольности дворянской 1762 г. Освобождение дворян от обязательной царевой службы, казалось бы, должно освободить и крестьян от необходимости их «кормления», чем, собственно, было вызвано крепостное право. О том, что такое ожидание имело место, свидетельствуют прокламации Пугачева. Новое напряжение ожиданий было обусловлено национальным подъемом в связи с окончанием Отечественной войны 1812 г., в которой огромную роль сыграли крестьяне, особенно тех губерний, через которые прокатилась наполеоновская армия. Однако в ответ на свои ожидания крестьяне услышали из уст просвещенного монарха сакраментальную фразу: «Крестьяне — верный наш народ, да получают мзду от Бога». «Общество» же в пылу торжеств забыло о своих оставшихся в рабстве вчерашних братьях по оружию. Только декабристы попытались напомнить правительству о существовании данной проблемы, но и у них она отошла на второй план перед политическими требованиями. Только *позор поражения* в Крымской войне переполнил чашу терпения *всего общества* и перевел ожидание в *предчувствие неизбежности перемен*.

Вторым моментом, предшествующим и подготавливающим неизбежность реформ, является *общенациональный кризис*, вызванный накоплением внутренних проти-

воречий, но, как правило, спровоцированный внешними обстоятельствами. Так причины кризиса накапливались с начала 50-х годов царствования Николая I, решительные реакционные меры которого только загоняли его вглубь, начало же войны лишь дало отсрочку. Поражение в войне породило волну национального негодования. Разрядка неоправданных ожиданий порождает социальную анархию неорганизованных действий различных социальных групп. Одной из форм ее проявления на Руси были бунты. На этот раз национальное негодование было канализировано либеральной идеологией.

Общественное мнение, сформированное сильной идеологией, позволяет направить общественное негодование в единое русло, придав ему тем самым необходимую мощь. Этому в значительной мере способствуют доступные данной эпохе средства массовой информации, в частности в эпоху реформ эту функцию выполняли легальная либеральная журналистика, вполне овладевшая приемами эзопова языка, подцензурные записки и письма и, наконец, бесцензурная зарубежная журналистика, образцом оперативности которой может служить свободная печать Герцена.

Инициатором радикальных реформ выступает наиболее конструктивно мыслящая часть правящей бюрократии, если такая находится, ибо только она имеет силу и власть провести реформу через все препоны общественного давления со стороны различных заинтересованных сил. Не случайно радикальные реформы называют «революцией сверху», противопоставляя ее «революциям снизу».

Осуществлению радикальных реформ предшествует создание социальных моделей. Однако, как правило, ни одна из них не совпадает с итоговым вариантом и тем более реальными результатами реформ. И это понятно: любая реформа есть внедрение идей в живую плоть социального тела, которое сформировалось в старых условиях и худо-бедно приспособилось к ним. Реформа же

всегда означает *пере-стройку, пре-образование* сложившихся отношений и потому весьма болезненно воспринимается всеми затрагиваемыми слоями общества. Реформа возможна на основе компромисса *за счет* их интересов. Отсюда неудовлетворенность, перерастающая в недовольство всех заинтересованных слоев общества, отсюда давление и критика слева и справа, осуществляемых реформаторами мер, отсюда же постоянные колебания последних «слева-направо». И тем не менее реформа может быть результативной только в случае ее последовательного непреклонного осуществления. Более того, любая радикальная реформа, преобразующая базисные отношения общества, а таковой, безусловно, была крестьянская реформа, вызывает цепную реакцию, требующую продолжения ее во всех смежных областях. То есть успешное осуществление радикальной реформы всегда выливается в «пакет реформ» и *предполагает их завершенность*.

Перестройка общественных отношений в результате реформ, внедрение новых институтов болезненно воспринимается обществом, во-первых, потому, что она не соответствует в полной мере и не может соответствовать его ожиданиям. Неудовлетворенность порождает нестабильность, а при определенных обстоятельствах вызывает смуту в обществе. Это порождает «тоску по былому порядку», что расчищает почву реакции в лице сильной авторитарной власти. Однако в недрах пореформенного хаоса зарождаются и крепнут новые отношения и институты, которые становятся катализаторами развития новой системы отношений. Отсюда амбивалентно непредсказуемый исход радикальных реформ: либо, преодолевая сопротивление реакции, реформы будут доведены до конца и закреплены политически государственным законом, либо восторжествует реакция, и тогда неизбежная стагнация общества, чреватая революционным взрывом.

С проведением реформ 60—70-х годов завершился период русского классического либерализма, подготовившего почву ликвидации сословного общества и его перехода к обществу гражданскому. И хотя этот процесс был заторможен эпохой контрреформ, под покровом реанимации самодержавия вызревали новые, классовые отношения, а вместе с ними и новые противоречия и проблемы. Их решение потребовало иных критериев оценки и, главное, иных ориентиров. Одним из ответов на этот запрос общества стал новый этап в развитии русского либерализма — «новый либерализм».

Глава 3. Новый либерализм: смена парадигмы общественного моделирования

3.1. *Новый либерализм как идеология послереформенного времени*

Новый либерализм формировался в условиях политической реакции середины 90-х гг. Это было сложное и противоречивое время. С одной стороны, отмена крепостного права и реформы правительства Александра II бесспорно способствовали капитализации российского общества и в какой-то мере придали этому процессу необратимый характер. С другой стороны, убийство императора (1881) активизировало консервативные силы, Александр III положил конец тем темпам и масштабам реформаторской деятельности двадцатилетнего правления своего отца. Время Александра III вошло в историю как время контрреформ. «После радужного настроения, светлых надежд и кипучей деятельности, наполнивших собой эпоху реформ, наступили годы полного и горького разочарования, и было от чего: светлые надежды не сбылись, победное шествие реформ остановилось, отчасти попятилось назад. Радужное настроение превратилось в мрачное, ироническое, дошедшее в некоторых до отчаяния или крайнего озлобления», — писал в 1888 году К.Д. Кавелин²⁵¹.

Казалось, либерализм «превратился в мерцающую неопределенность» (Масарик), отступил под натиском консерватизма, сводя до минимума свои требования (свобода печати, распространение в народе грамотности, продолжение начатых реформ), что даже позволило некоторым увидеть в нем «колосса на глиняных ногах». И тем не менее на рубеже веков либерализм в России, не занимая господствующего положения в общественной мысли и в социокультурной практике, оставался на ис-

торической арене в качестве заметной социальной силы оставалось заметным. Не погрешив сильно против истины, можно сказать, что он стоял за всеми главными конструктивными преобразованиями, которые проводило царское правительство вплоть до 1906 года. Поэтому справедливой представляется оценка ситуации, данная известным исследователем проблемы А. Валицким, считающим, что «традиция либерализма никогда не прерывалась в России, а в конце прошлого века ее значение стало даже заметно и постепенно возрастать»²⁵². В значительной мере это было связано с всеобщим неприятием самодержавия.

После смерти Александра III заметно активизировалось земство, призывавшее нового императора Николая II «вернуться лицом к реформам». Земцы рассчитывали на склонность царя (по молодости) к либеральным идеям. Но ошиблись, впрочем, как уже бывало. Все надежды были развеяны речью Николая II, произнесенной 17 января 1895 г. Ситуация вызвала резкий протест прогрессивных общественных кругов. В своем «Открытом письме Николаю II» П.Б.Струве предупреждал о неизбежном падении самодержавия, если оно не прекратит отождествлять себя с бюрократией. По сути, начался период открытой конфронтации царизма с народом и интеллигенцией. Доверие общества к нему быстро таяло. Мысль о том, что прогресс России возможен при самодержавии, стала рассматриваться как недомыслие или измена, ибо для многих становилось очевидно, что «износившееся самодержавие обратилось в игрушку в руках шайки людей, преследующих исключительно свои личные интересы» (Чичерин).

Самодержавие было заклеено как такое же абсолютное зло, подлежащее уничтожению, каким до «великих реформ было крепостничество», — вспоминал позднее В.А.Маклаков²⁵³. Поколение 90-х годов начинало видеть в нем стену, о которую разбились попытки рабо-

тать на благо народа. Для активного большинства общест-венности оно становилось Карфагеном, который надо было разрушить. Жаждали «нового слова», им стало тре-бование «Долой самодержавие!».

Наиболее громко после народников его произнес марксизм, но он обращался не ко всем, к тому же пропа-гандируемые им и реализуемые в революционной прак-тике средства многих отталкивали. «Быть услышанным» больше шансов оказалось у либералов, часть которых начала быстро «леветь». В «новое слово» они внесли по-правку, выдвинув требование конституционализма на основе народного представительства в качестве *про-граммного* требования, и провозгласив идею правового государства одним из «*политических заданий*». На этом фоне в либеральном движении наметились некоторые сдвиги, хотя часть его, особенно земская среда, которая в 90-е годы не намеревалась выступить против правитель-ства, еще надеялась на возможность реформации старо-го строя без разрушения его основ. Можно сказать, что либерализм проявлял себя чаще в умонастроениях, в сфе-ре эмоциональной жизни, нежели в социальной практи-ке и мотивации правительственных чиновников.

К концу 90-х годов положение дел несколько изме-нилось, чему в немалой степени способствовали распра-ва над земством, учиненная министром внутренних дел В.К.Плеве, и последовавшие один за другим земские съезды, ознаменовавшие по сути раскол в либеральном движении. Наряду с выделением ортодоксально-либе-рального ядра (Д.Н.Шипов, М.А.Стахович, А.С.Хомя-ков) образовалось и стало набирать силу конституцио-налистское направление (П.И.Новгородцев, П.Б.Стру-ве, П.Н.Милюков, С.Л.Франк), ставшее сначала ядром «легального марксизма», а позже оформившееся в либе-рально-конституционную партию. Появление «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» с печатным органом «Освобождение» в 1902 г. в Штут-

гарте под редакцией Струве организационно оформило этот раскол и положило начало процессу партийного оформления либерального движения, целью которого объявлялась организация либерально-умеренного крыла русского общества. Правда, удержаться на позициях «социального нейтралитета» оказалось очень трудно.

Все эти процессы вызвали выделение внутри либерализма особого направления — *нового либерализма*, объявившего своим политическим кредо конституционализм на основе представительной демократии. Как отмечал П.И.Новгородцев, «тот преимущественный интерес, который ранее принадлежал конституционной монархии, считавшейся наилучшим воплощением идеала правового государства для России, теперь постепенно переходил к представительной демократии... центр тяжести был перенесен на вопросы внутренней организации управления и представительства»²⁵⁴; актуализировались вопросы политического моделирования и его связи с социальным реформированием. Это означало отход от политических предпочтений дворянского либерализма пореформенного времени, ориентированного на деятельный контакт с самодержавием, для которого консерватизм, как уже об этом говорилось, был как бы вторым лицом. (Большинство русских либералов в этот период были скорее либеральными консерваторами, чем либеральными демократами.)

Очевидность различий со старым либерализмом в полную меру выявилась, правда, несколько позже, но в середине 90-х годов тенденция уже недвусмысленно заявила о себе. А либерализм стал приобретать черты, отличные от дворянского либерализма. Исследователь проблемы В.Ф.Пустарнаков называет его либерализмом «пост-классического типа», сравнительно с классическим западным либерализмом²⁵⁵. С этой характеристикой можно согласиться, а можно и спорить, но в любом случае нельзя не признать, что либерализм эпохи Александра II и либерализм 90-х годов — вещи разные.

Главное их отличие обусловлено тем объективным фактом, что 90-е годы были связаны с набиравшими силу процессами капитализации российского общества, тогда как пореформенное время лишь расчищало путь капиталистическим преобразованиям. Соответственно особенностям исторической ситуации социально-политические требования нового либерализма облекались в несколько иные формулы: свобода в общественном устройстве как равенство прав, свобода предпринимательства как отсутствие монополий и вольная конкуренция, расширение функций государства вплоть до вмешательства в жизнь гражданского общества. Соответственно идея народного суверенитета, принцип разделения властей, принцип личных прав — все эти начала старой политической доктрины получали иное обоснование и иное практическое звучание. Основой стала идея *солидарности*, подчинения *всех социальных сил* общему обязывающему началу (государству) как гарантия действительной свободы. Само понятие свободы тесно увязывалось с солидарностью всех членов общества, в противном случае считалось, есть опасность ее самоуничтожения и разрушения основ государственной жизни.

Не последнюю роль в изменении либеральных воззрений сыграло и влияние западной ситуации, прежде всего успехи социал-демократического движения. Под давлением последнего многие европейские государства стали обнаруживать перемену в характере власти: она стала все чаще объявляться «социально-служебной» властью, существующей ради решения тех задач, которые стоят перед государством во всех сферах общественной жизни. Принцип правового государства стал коррелироваться с разнообразными программами, осуществляемыми государством в *социокультурной политике*. Правовым признавалось государство не потому, *что* оно делает, а потому, *как* оно действует, поэтому с ним связывались самые широкие программы социальной политики.

Поскольку отмеченные моменты являются составляющей *буржуазного либерализма*, русский либерализм 90-х годов можно назвать таковым, хотя и с определенными оговорками, ибо третьего сословия, как, впрочем, и четвертого, в качестве политической силы в это время в России практически еще не было, а классовой базой самодержавия оставалось дворянство. В силу чего новой идеологии не была свойственна остро классовая направленность. В этом плане данная Н.М.Пирумовой оценка земства как «помещичьего либерализма» выражает важнейшую характеристику всего либерального движения этого периода²⁵⁶. Несмотря на возрастающее экономическое влияние, русская буржуазия по-прежнему в большой степени зависела от царизма — и экономически, и политически. В конце века она была еще неконкурентоспособной не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, нуждалась в постоянной правительственной поддержке, в покровительственных пошлинах, в покровительстве промышленности сверху. И, надо сказать, получала эту поддержку, активно осуществляемую царским правительством через политику протекционизма²⁵⁷. Очень медленно консолидируясь в класс, русская буржуазия предпочитала своим классовым интересам групповые. Не имея своей интеллигенции, она не признавала либерализм «своим» вплоть до 1917 года. Впрочем, и лидеры либерализма не спешили заявить о защите интересов буржуазии. А.А.Кизеветтер, один из организаторов и идеологов партии кадетов, настаивал: «...партия народной свободы не есть партия буржуазная» как рассматривающая вопросы государственной жизни «с точки зрения общенародного блага»²⁵⁸. Ее идеалы — это свобода и социальная справедливость.

Сказанное позволяет согласиться с М. Вебером, считавшим, что русский либерализм был движим скорее не социально-экономическими интересами, а *идеями*²⁵⁹. Как всякое направление общественной мысли — мы этим

утверждением вовсе не отрицаем его значимости в качестве общественно-политического движения — русский либерализм более, чем западный, на всех этапах своей истории не утрачивал этой черты, оставаясь всегда (а может, прежде всего) *системой взглядов* образованной, гуманистически настроенной части общества, т.е. *интеллигенции*, которая была и организатором, и субъектом либерального движения и которая к концу века значительно возросла (за счет земской и служилой интеллигенции, людей свободных профессий, университетской профессуры).

В это время русский либерализм как общественный феномен был интеллигентским течением, как по составу его защитников, так и по пропагандируемому мировоззрению. «Никто из настоящих либералов того времени не защищал интересы какого-то отдельного класса или группы, но ратовал за интересы всего народа, всего общества, всей страны»²⁶⁰. Различные политические ситуации, уровень и направленность развития самой общественной мысли акцентировали различные его моменты — политическое кредо, философские концептуальные основания, программу социальных преобразований, критику тех или иных сторон жизни гражданского общества, вопросы тактики, но всегда русский либерализм оставался прежде всего *системой идей*, ориентированных на общецивилизационные, гуманистические ценности и завоевания мировой культуры. Н.А.Бердяев, несколько утрируя эту черту, отмечал: «Русские либералы были скорее гуманистами, чем государственниками»²⁶¹.

Может, поэтому так часто русский либерализм, включаясь в практику реформаторской деятельности, терпел поражение? В русском либерализме (во всех его исторических видах) немало романтической веры в святость общечеловеческих ценностей, и в этом смысле немало утопии, но, думается, в этом есть не только его слабость, но и сила. Терпя поражение как общественно-по-

литическое движение, он всегда сохранял свой «непотопляемый» запас идей, составляющих общечеловеческие ценности. Наверное, в силу этой же черты он обречен быть всегда, по словам Маклакова, «вечной оппозицией», а не правящей партией. Может, в этом и есть его самая большая тайна, за которой скрыты многочисленные «почему?», с которыми люди разных поколений, в том числе и мы сегодня, обращаются к нему: почему терпит поражение на выборах, почему не может удержать власть, почему так много говорит и так мало действует — почему, почему, почему?

Но вернемся к характеристике исторической ситуации, в которой появился новый либерализм. Сказанное выше, на наш взгляд, объясняет — во всяком случае в какой-то мере, его выбор ориентации на синтез ценностей старого либерализма с программами социал-демократического движения. И с этой точки зрения приведенная выше оценка его В.Ф.Пустарнаковым его как «постклассического» верна: русский либерализм как бы перепрыгнул от российского дворянского сразу к европейскому, постклассическому либерализму. Правда, он не утратил своей специфики, что позволяет характеризовать его именно как русский либерализм, т.е. продолжающий *свои* традиции, а точнее, традиции русской общественной мысли, важнейшей из которых оставалась верность гуманистическим, демократическим ценностям. Как писал Струве, «всякий иной либерализм, кроме демократического, не имел бы в русском обществе почвы и не имел бы в ней отклика»²⁶².

Говоря о доктринальных особенностях нового либерализма, важно подчеркнуть еще и тот момент, что в России он формировался в условиях острой конкурентно-идейной борьбы с набравшим силу революционно-демократическим движением. Отношения полемики, притяжения и отталкивания не могли не сказаться на направленности и содержании его идей, на его страте-

гии и тактике как общественного движения в целом. Существенное значение имело то обстоятельство, что его социально-политическая программа испытывала влияние со стороны социализма. Однако в отношении последнего необходимо следующее уточнение, дабы избежать возможных двусмысленностей.

Речь идет о направлении общественной мысли, в рамках которого социализм понимается как углубление и расширение идей правового государства, а социализация последнего — как расширение сферы прав человека. *Этому социализму неолиберализм обязан целым рядом новых положений.* «В практике современного государства, — писал П.И.Новгородцев, — границы либерализма и социализма стираются; их различие в степени темпа и меры, в степени эмпирической научной точности при осуществлении своих задач»²⁶³. И тем не менее не следует абсолютизировать момент кажущейся похожеести, а главное, необходимо учитывать то конкретное содержание, которое закреплялось новыми либералами за самим понятием социализм. «Когда мы говорим, что социализм, входящий в культурную работу современного государства, «врастающий» в современное общество, вполне приемлется теорией новейшего либерализма и практикой правового государства наших дней, — отмечал Новгородцев, — это значит, что мы /.../ имеем здесь в виду социализм, утерявший свое внутреннее существо и превратившийся в политику социальных реформ»²⁶⁴.

В таком реформированном варианте за социализмом признавалась роль *ускорителя социальных реформ*, осуществляемых государством. При этом полагалось, что и «самая из исторических реформ» не может осуществиться «вне путей исторической эволюции». Другими словами, с социализмом отождествлялась направленность социал-демократической практики, складывающейся из последовательного продвижения по пути реформ, ни одна из которых не может быть в этом ряду последней и ко-

нечной, а лишь ступенью на пути прогресса. (В этом смысле историческое осуществление социалистических начал, считалось, явится вместе с тем и полным крушением марксизма: эволюционным путем будет достигнуто то общественное состояние, переход к которому марксизм связывал с революцией.)

Цепочка реформ не осуществима без предварительной духовной, нравственной подготовки всего общества и потому предполагает одновременно с политической его духовную реформу. В обращении к нравственным силам новые либералы видели свои преимущества перед марксизмом и гарантию от радикализма, полагавшегося на силу классовой борьбы и социальной революции. Спустя некоторое время это противопоставление позиций вместе с критикой большевистской идеологии прозвучит в «Вехах», авторами которых станут именно новые либералы, а еще позже, уже после октября 1917 года, в сборнике «Из глубины».

Если говорить о влиянии на либерализм марксизма, то необходимо напомнить, что через увлечение им, прошла практически большая часть русских мыслителей конца XIX века и прежде всего те, кто заявил о себе как о «легальных марксистах». С последним были связаны попытки соединения экономического учения Маркса с социально-политическими идеями либерализма, попытки придать марксизму смягченную форму в отличие от ортодоксального толкования его плехановской школой. Этот факт, бесспорно, оказал существенное влияние на идеологическое оформление нового либерализма. (Поэтому не без основания некоторые усматривают генетические связи легальных марксистов с либерализмом 90-х годов.) Линии связи с марксизмом имели и тот общий вектор, который выражал одинаковое неприятие всех форм социального угнетения. По оценке Новгородцева, марксизмом была установлена та идейная грань, которая требовала изменения взгляда на сущность права, на принципы ра-

венства и свободы. Немаловажное значение имел и тот факт, что легальные марксисты отвергали народническую модель некапиталистического развития России, капитализм толковался как этап, который необходимо пройти. Конечно, в такой оценке капитализма, полностью воспринятой новыми либералами, «просвечивала» определенная амбивалентность: с одной стороны, эта оценка была сущностно связана с концептуальными либеральными установками, ориентирующими на защиту идеи естественного хода истории. С другой стороны, она несла на себе печать «крещения марксизмом» — капитализм есть «зло». Заметим, что эта амбивалентность по большей части и делала его идеологией полумер, о чем мы уже говорили выше.

Однако, влияние марксизма имело свои границы и в целом новый либерализм во многом был «плотью от плоти» своего предшественника. Правда отличия от «родителя» были порой столь существенны, что современники не раз отказывали ему в праве называться либерализмом. В этой связи примечательна полемика, развернувшаяся в 20-е годы на страницах журнала «Современные записки» между В.А.Маклаковым и П.Н.Милюковым. Маклаков, обращаясь к ситуации, предшествующей 17 октября 1905 года, обвинял новых либералов, в частности кадетов, в том, что они нарушили главный принцип либерализма — вступили в борьбу с существующей властью, предали русскую государственность, отказались ее поддерживать и сыграть традиционную для либералов роль реформаторов, что стало для него равносильным самоубийству, поскольку либералы «встали тем самым на сторону революции» (свержения самодержавия). Милюков, в свое время положивший немало сил для изгнания из «Союза Освобождения» приверженцев старого либерализма (этих «идеалистов самодержавия»), признавал, без всякой доли оправдания, что в тех сложившихся условиях иначе действовать было и невозможно, ибо сама самодер-

жавная власть не оставляла другого пути к конституционной монархии, кроме революционного. К тому же в тактических соображениях революционные методы вовсе не исключаются, поэтому революционером может стать при известных обстоятельствах и либерал. Заметим, что это не было личной точкой зрения на проблему. Другой не менее авторитетный идеолог либерализма А.А.Кизеветтер подтверждал, имея в виду программные установки партии Народной Свободы, что если в части стратегии партия остается верна эволюционизму, то с точки зрения практики она ориентирована на отказ от недооценки методов насилия.

Таким образом, новая идеология критиковала классический либерализм и за сопротивление конституционализму, который расценивался представителями последнего как «дворянская затея», и за недооценку оправданных тактическими соображениями решительных методов, вплоть до насилия, в социальной практике. Вообще именно с момента партийного оформления русский либерализм стал представлять собой очень разнородное явление, и факторами разногласия были не столько вопросы теории, сколько тактики самого движения: он шел из разных общественных групп, и разнообразные мотивы руководили людьми, присоединявшимися к либеральному движению. Позиция Маклакова и Милюкова выражала как бы два полюса в либеральных умонастроениях и ориентациях относительно целей и средств либерального движения. Но, повторяем, и согласные с формулой старого либерализма, ориентированного на реформацию общества «сверху», и не верившие в конституционные действия самодержавия, не отрицали исходных социально-философских идей старого либерализма, более того, именно эти идеи стали ядром новой социальной программы.

3.2. О праве как гарантии «минимума добра и нравственности»

Главный вектор развития нового учения был связан с толкованием права, социально-правовых функций государства, т.е. с учением о правовом государстве. Если классические либералы выступали с требованием ограничения роли государства не только в экономике, но и во всех других сферах (это считалось наилучшим способом обеспечить свободу и равенство), то новые либералы акцентировали вопрос о расширении функций государства, о их *социальной направленности*. Государство, надлежащим образом преобразованное, может и должно регулировать экономическую жизнь общества, поскольку отдельные классы, как бы они ни различались по своему экономическому положению, всегда преследуют *свои* экономические интересы. Государство, опираясь на право должно служить *общему благу*, а не интересам отдельных лиц и социальных групп. Этого требует от него современное правосознание.

Новый либерализм появился в России на стыке с демократическим движением, на пересечении с критикой революционного социализма и, конечно же, под влиянием тех социальных задач, которые питали русскую общественную мысль того времени. Поэтому он почти сразу оформился в *социально-политическую программу*. Его проблемы оказались связанными с проблемами назревших в России общественных преобразований в области государственного устройства и социально-экономической жизни общества. Чуть позже, в начале XX века, многие идеи нового либерализма стали основой идеологии и социально-политической программы партии кадетов — партии, активно включенной в политическую борьбу, что впоследствии наложило заметный отпечаток не только на политическую, но и на социально-экономическую доктрину нового либерализма. Но развивая новые идеи,

новые либералы пытались согласовать их с общим духом либеральной системы ценностей, основополагающим конструктом которой было *признание самоценности человеческой личности и естественных прав человека*. И шли в этом направлении совершенно сознательно, не только признавая свою связь с предшественниками, но и дорожа ею. Важно отметить, что предложенная социально-экономическая программа и интерпретация принципов правового государства значительно приближала новый либерализм к европейским социал-демократическим программам конца XIX века, чего нельзя было сказать о классическом либерализме, ориентированном на сохранение самодержавия.

Новый либерализм, соглашаясь с этим тезисом по существу и защищая принцип ценностного приоритета правозаконности над сферой политики, вместе с тем выдвинул принцип *социализации* правового государства, которая понималась не как расширение сферы политической власти, а скорее как более высокая степень верховенства закона, как расширение сферы гарантируемых *прав личности*. Новый либерализм соглашался на расширение области государственного регулирования общественной и личной жизни индивидов, предлагая толковать право не просто как обеспечение индивидуальной свободы, но и как гарантию «минимального добра», что включало в правосознание вместе с категорией права категорию морали.

Значительное влияние на развитие правосознания в этом направлении оказали идеи Вл. Соловьева, защищавшие идеальную сущность права — силу права против права силы. Роль права в человеческой жизни предстала у Соловьева в свете его высшего идеального предназначения «служить целям нравственного прогресса». Идея о «праве человека на достойное существование», «на возможное благополучие», которые государство обязано гарантировать всем гражданам, утверждало самоценность

человеческой личности, критерий, в соответствии с которым общество, где личность становится орудием политических целей, признавалось противоречащим идеалу человеческой общественности. Эти идеи произвели глубокое впечатление на таких блестящих правоведов, как П.И.Новгородцев, В.И.Гессен, Б.А.Кистяковский, которые «превратили в философско-правовой постулат его идею о сверхутилитарном (духовно-нравственном) первоисточке правосознания и стали трактовать последнее как общечеловеческое суждение о справедливости, имеющее значение критерия и меры при оценке любых положительных законов»²⁶⁵.

Суть позиции Соловьева состояла в признании, что право по своей природе родственно нравственности, поскольку принадлежит к сфере долженствования. Между двумя этими областями, считал Соловьев, есть тесные внутренние отношения, не позволяющие отрицать одну из них во имя другой. Правопорядок — это такое общественное состояние, которое соответствует «внутреннему запросу *нравственно развитой личности*», ибо только она обладает сознанием, что право есть гарантия свободы и угроза, обращенная против пытающихся уничтожить ее. Само же право — это есть «*принудительное требование определенного минимального добра*»²⁶⁶, «определенного *минимума нравственности*»²⁶⁷. Отмечая значение этой идеи для развития философии права, Новгородцев назвал Соловьева наиболее видным защитником правовой идеи среди философов истекшего века. «Юрист найдет здесь, конечно, много промахов и недосмотров, но вместе с тем он должен оценить и серьезную заслугу. Эта заслуга касается самого доброго и ценного для всей юридической науки, а именно доверия к идее права. Все построения Соловьева проникнуты этим доверием; все оно стремится подчеркнуть нравственную цену правовых учреждений, их значение для морального прогресса»²⁶⁸.

Уместно, однако, заметить, что соловьевское толкование природы права встретило возражение со стороны Б.Н.Чичерина, который увидел в нем невозможное для правовой теории отождествление права и нравственности. Государственность (право) не может быть на службе нравственности — это равносильно уничтожению права, да и самой нравственности, так как последняя налагает на человека только обязанности, не определяя никаких прав, в свою очередь подчинение права нравственности означало бы введение ее принудительными мерами. Понятно, что Чичерин критиковал Соловьева не за идею правового обеспечения элементарных прав общежития, а за увиденное им за ней стремление превратить право в инструмент реализации нравственного идеала. Однако в отношении Соловьева последнее не имело в общем-то оснований. И в его позиции нам важно отметить другой момент. Ибо, как отмечает Новгородцев, Соловьев полемизировал не со всеми юристами, а с теми правоведами, которые выросли на почве непонимания роли права и закона в жизнедеятельности общества, в чем он усматривал серьезные слабости российской жизни в целом.

Для развития человеческой свободы и нравственности необходимо благоустроенное общество, которое зависит от безопасности всех, — вот смысл позиции Соловьева. Действительная свобода остается пустой фикцией без должных гарантий со стороны права и государства. Поэтому, конечно, главная функция правового государства — принудительная охрана равновесия частных своекорыстных сил. Но в этом и состоит минимальное требование к праву. Цель же жизни не в том, чтобы общество существовало, а в том, чтобы оно существовало достойным образом. Обеспечение такого человеческого существования есть максимальное требование к праву, его подлинная цель и соответственно главная функция правового государства.

Согласно Соловьеву, требуемый правом «минимум добра» включает обеспечение всем людям «достойного существования» не только в плане физических средств, но и в плане соответствующего досуга, т.е. такого, какой человек мог бы использовать для своего духовного совершенствования. И хотя для Соловьева правовое государство не было последним — с точки зрения идеала — способом человеческого общежития, а только необходимой ступенью к его высшей форме — теократии, сам мыслитель, всегда остававшийся на почве ближайших к нему реалий и исторической перспективы, защищал модель правового государства, «подправляя» ее идеей единства права и нравственности.

В предложенной формуле однопорядковость права и нравственности не означала тождества: Соловьев, конечно, понимал, что требования права строго ограничены, тогда как нравственные побуждения могут быть всеобъемлющими. Но мораль, полагал мыслитель, наполняя идею неотъемлемых прав человека этическим содержанием, превращает эти права *в гарантии отношения государства к человеческой личности не только как к средству*, ибо ориентирует право на обязательную реализацию минимального добра в общественной жизни, а соответственно и свободы. Последняя же есть возможность проявления индивидуальности, т.е. гарантия, что никакое человеческое существо не может рассматриваться *никем* (ни другим человеком, ни обществом, ни государством) как средство достижения каких бы то ни было целей.

Признание за правом принуждения к реализации добра не означало для Соловьева и признания правомерности патерналистского вмешательства в частную жизнь, не отрицало свободы совести, свободы распоряжаться своими природными способностями, своим имуществом. Не отрицая, что право есть насилие, он утверждал, что это насилие призвано смирять злые склонности, обуздывать упорный эгоизм лиц, бороться с несправедливо-

стью и произволом сильных, обеспечивать общее равенство и свободу. Поэтому те, кто отвергают право на том основании, что оно есть насилие, возведенная в закон воля стоящих у власти, — те забывают о праве как выражении справедливости и свободы, забывают о том, что оно есть священное достояние людей. Позиция Соловьева наносила удар по этатизму. Как справедливо отмечает Эр.Ю.Соловьев, его идея о сверхутилитарном, т.е. духовно-нравственном первоисточке правосознания, с этого времени стала толковаться как *правовой постулат*. Само же правосознание — «как общечеловеческое суждение о справедливости, имеющее значение критерия и меры при оценке «положительных законов»²⁶⁹.

К сожалению, сторонники классического либерализма увидели в позиции Соловьева прежде всего опасность теократических устремлений к «насильственной организации добра», которая, как они убеждали, может стать врагом свободы. Соловьев не разделял таких опасений и постоянно подчеркивал, что требование правовой институционализации минимума нравственности следует отличать от готовности использовать насилие (полиция, тюрьмы) для защиты нравственного абсолюта. Отстаивая этот тезис, он обосновывал правомерность и необходимость целенаправленных государственных усилий на обеспечение достойных человека условий жизни. Эта идея была созвучна пафосу нового либерализма, защищаемым им принципам социальной политики и моделирования отношений между государством, властью и гражданским обществом. Оценивая эту заслугу Вл.Соловьева, Новгородцев называл его «наиболее видным защитником правовой идеи среди философов истинного века»²⁷⁰. Позиция Соловьева переворачивала ценностные устои, сложившиеся в общественном сознании: общество, где за личностью признается лишь роль орудия реализации политических и культурных целей, даже если последние являются самыми возвышенными, стало

расцениваться как антигуманное. Можно сказать, что после Вл. Соловьева (который по строгому счету не принадлежал ни к какому определенному политическому движению) русская либеральная мысль обрела программную последовательность европейского политического либерализма и прочно связала себя с концепцией прав человека и идеалом правового государства. Новый либерализм стал попыткой своеобразного примирения позиций Б.Н. Чичерина и Вл. Соловьева: либералы остались верными пониманию государства как оставляющего своим гражданам полную свободу самоопределения и отказывающегося от навязывания им своих планов, но одновременно они признали, что его важнейшей функцией является обеспечение «права на достойное существование». Ибо, по их представлениям, «правовое государство по своей идее есть государство, осуществляющее высшие задачи права, а не только формально определяющееся в своей организации и деятельности правом. Высшее же назначение права быть не только нормами, отрицающими произвол в общественных отношениях и обеспечивающих необходимую формальную свободу личности, но и нормами социальной справедливости»²⁷¹.

Идеи Соловьева оказали существенное влияние на все правосознание конца XIX века. Но в наибольшей степени они нашли отражение в философии права П.И. Новгородцева, вернее, как он сам называет систему своих воззрений — в нравственном идеализме, в соответствии с которым право толковалось как охватывающее оценочные отношения относительно всей системы политических и правовых учреждений. Это определило новое направление в выборе требований, предъявляемых к социальному моделированию, а именно — продолжить принцип равенства в сторону *уравнивания социальных условий жизни*.

Пути развития правового государства предлагалось связывать с осуществлением социальных реформ в направлении расширения его функций за пределы соб-

ственно правовой сферы и насыщения их идеями нравственности и справедливости. Это требование подкреплялось не гуманистическими сентенциями, а куда более трезвыми соображениями: правовое государство не в силах осуществить стоящие перед ним задачи *чисто правовыми средствами*, оно должно призвать на помощь нравственные силы. В этом и состояла новизна, вносимая новыми либералами в учение о правовом государстве. Классики правосознания провозгласили государство «земным богом». За ним была признана исключительная и всемогущая роль в деле нравственного прогресса. Опыт XIX века заставил отступить от этого взгляда к более скромным воззрениям.

В соответствии с ними государство имеет лишь «практическую ценность необходимой и целесообразной организации», оказывающей человечеству элементарные, но незаменимые услуги²⁷². Большая часть их связана с обеспечением единения всех слоев общества. Для осуществления этой задачи оно и вынуждено призывать на помощь нравственные силы, ибо для ее решения, как показывает жизнь, формальных начал недостаточно. Необходимы более прочные скрепы общественной жизни. Роль таковых может выполнить *солидарность*, основанием которой является подчинение под контролем государства частных интересов высшим нравственным идеям. Только при этом условии государство в состоянии сдерживать силы реального зла и открыть простор для сил,двигающих общество по пути прогресса. Но в таком случае право должно включать не только насилие, но и обеспечение свободы. Вот почему внешние правовые формы далеко не безразличны для нравственных целей, ибо от качества этих форм, от их *соответствия нравственному началу* зависит, находит ли человек в данной среде гнетущую его силу, жестко ограничивающую его свободу или возможность беспрепятственно развивать свои склонности и способности. Более того, именно эта взаимосвязь

правовых форм с нравственными устремлениями людей является первопричиной развития, совершенствования права. Поэтому право должно быть понято не только как факт социальной жизни (внешняя общественная форма), но и как личностный принцип, а для определения его регулятивных начал необходимо обращение к этике. Развивая это направление мысли, Новгородцев возвращается к идее естественного права, выражающего общечеловеческие и вечные стороны человеческого бытия, «беспристрастную и нелицеприятную идею справедливости», и утверждает, что именно с ней, получающей свои высшие принципы от моральной философии, связана теория правового государства, а «первая линия его определения» слагается из требования морального закона²⁷³.

Как подчеркивает А.Н.Медушевский, уже само обращение русской юридической науки к теории естественного права представляет интерес²⁷⁴. Оно свидетельствует об обращении русской юриспруденции к праву с точки зрения вечных человеческих ценностей и о признании нравственного основания человеческой природы, о значении этических принципов, играющих роль своего рода исконных правовых начал. Из этого следовало представление о связи права и этики, о праве как нравственности. Утверждалась мысль о возрождении и силе естественного права с признанием самостоятельного значения нравственных начал в его реализации. Это говорило о повороте правосознания к новой «системе отсчета» в оценке значения и роли государства, в известном смысле об утверждении в нем новой парадигмы, если принять во внимание предложенную интерпретацию и готовность к защите и практическому осуществлению связанных с теорией естественного права требований общественной жизни. Идеи естественного права в обосновании и интерпретации Новгородцева были поддержаны И.А.Покровским, Б.А.Кистяковским, Н.М.Коркуновым, Л.И.Петражицким.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что к концу 90-х годов под влиянием развития философско-правовой мысли и развития социал-демократического движения в Европе в русском либерализме сформировалась *новая парадигма* теории правового государства. Она заметно отклонялась от своего классического варианта в сторону большей акцентировки социальных функций государства и более расширенного толкования самого права. Если теоретики первой половины XIX века полагали, что деятельность государства должна ограничиваться охраной прав граждан, а наилучшим средством обеспечения свободы и равенства является невмешательство государства в экономическую сферу и частную жизнь людей, то в конце века представления на этот счет весьма изменились. Политическое развитие обнаружило, что для осуществления свободы и равенства требуется не только устранение юридических препятствий, но и материальные условия их реализации, т.е. определенная деятельность государства. Это меняло представления о роли моделирования социальной реальности — последнее приобретало значение важнейшей составляющей государственной политики, коррелирующей взаимоотношение власти и гражданского общества.

Учение о правовом государстве содержательно приближалось к социал-демократическим программам конца XIX века. Его проблемы оказались связанными целым рядом звеньев с проблемами назревших в России общественных преобразований в области государственного устройства и социально-экономических принципов организации хозяйства и всей общественной жизни. Принципы правового государства стали представляться совместимыми, как писал Кистяковский, с разнообразными программами и идеалами социальной и культурной политики.

Глава 4. Социальная программа нового либерализма

Содержание учения о государстве, обновленное теоретическими поисками В.С. Соловьева, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого и других теоретиков нового либерализма наиболее полно отразилось в а) интерпретации прав человека, б) понимании принципа равенства, в) истолковании собственности, г) обосновании принципов демократии.

4.1. «Право-притязание» как правовая основа либеральной модели развития

Основной принцип правового государства — ограничение власти — новый либерализм не подвергал сомнению. Власть положены пределы, которые она не должна переступать. Ограничение власти означает признание ею за личностью необходимых, ненарушаемых прав. Таковыми являются свобода совести, свобода общения, союзов и собраний, покоящаяся на праве неприкосновенности личности. Эти свободы есть неотъемлемое право каждого человека. Там, где их нет, государственная власть имеет насильственный, а не правовой характер. (Поэтому деспотичными государствами могут быть и те, что построены на принципах народовластия.) Таким образом, последовательное осуществление законности требует свободы и прав личности и в свою очередь естественно вытекает из них, как их необходимое следствие. В интерпретации этого тезиса сходятся все виды либерализма. Не составлял исключения в этом плане и новый либерализм. Дополняющей в его учении о свободе и государственной власти стала идея *«взаимных прав и обязанностей»*.

Различие в понимании этого вопроса между классическим и новым либерализмом столь значительно, как замечал С.И.Гессен, что кажется, будто, кроме названия

между ними нет ничего общего. В самом деле, новый либерализм выдвинул идею: государство не есть пассивный зритель борьбы «всех против всех», вмешивающийся в нее только тогда, когда происходит разрушение границы определенной законом личной свободы. Поэтому кроме «охранительной» функции у современного государства есть и другие — связанные с *обеспечением* свободы. Иными словами, у государства есть *положительные* обязанности по отношению к индивиду. Связаны они с тем, что каждый человек имеет право требовать от него не только юридической, но и материальной защиты. Обеспечение последней есть прямая обязанность государства, нарушение которой равносильно ущемлению индивидуальной свободы.

Другими словами, «если правовой либерализм мыслит отношение публичной власти и отдельного лица как отношение взаимного безразличия, то новый либерализм выставляет, напротив, идею взаимных прав и обязанностей между индивидом и государством»²⁷⁵. Если старый либерализм настаивал на невмешательстве государства в дела гражданского общества и хозяйственной деятельности, то новый либерализм, утверждая «право-притязание» каждого по отношению к государству, вменял последнему определенные обязательства по отношению к своим гражданам, но одновременно с этим и санкционировал контроль над жизнью гражданского общества. Важным был еще один довод: признание равных прав и обязанностей может «доставить правовое удовлетворение» лишь тогда, когда эти права и обязанности имеют свое оправдание: например, право на достойное существование выводимо из ценности, которой обладает каждая личность, требование ответственности выборных органов в своей основе есть толкование справедливости. Иными словами, притязания граждан своим главным доводом в правовом государстве имеют ориентацию пос-

ледного на ценность человеческой личности. Интересы индивида — главный аргумент в оправдании любого права и любой обязанности.

Итак, каждое лицо *имеет право* требовать от государства минимума социальных благ: получения образования, вспомоществования в случае старости, болезни, массовой безработицы и пр. А государство системой положительных действий обязано гарантировать реализацию этого права — не только на уровне общества в целом, но, что особенно важно, на уровне конкретной личности с учетом особенностей ее индивидуального бытия. Образно говоря, абстрактное по форме право должно быть личностным в своем осуществлении в системе правовых общественных отношений. Главным из «прав-притязаний» новые либералы признавали право на достойное человеческое существование. Обеспечение этого условия рассматривалось как положительная (а не благотворительная!) функция государства. Право на достойное существование выводилось из признаваемой самооценности каждой личности — независимо от ее заслуг, положения в обществе, занимаемой должности и т.п. — просто как человека. (Скажем, из того же источника, из которого проистекает недопустимость смертной казни.) Конечно, всякой социальной политике по необходимости присущ элемент ставки на сильных, но тем необходимее уравновесить его заботой о слабых.

Право, таким образом, как юридическая норма приобретало моральную окраску, ибо связывалось с категорией справедливости. «Власть, — писал С.А.Котляревский, — должна быть ограничена правом во имя справедливости; справедливость должна быть восполнена деятельной благожелательностью, которая в известном смысле есть высшая справедливость, вытекающая из достоинства человеческой личности и из сознания космического и морального единства»²⁷⁶. Так проблема пра-

вового государства целым рядом нитей сплеталась с проблемой общественного устройства не только в смысле его внешних форм, но и *внутреннего единения его граждан*.

В признании права на достойное человеческое существование в толковании социальных функций государства новые либералы видели свое существенное отличие от классического либерализма, для которого из признания свободы индивида вытекала лишь обязанность государства *не вмешиваться* в частную жизнь граждан. Новые либералы понимали право *положительно*: государство обязано не только не вмешиваться в частную жизнь, но и помогать гражданам определенным образом в целях достижения необходимого уровня жизни. Если классический либерализм игнорировал связь права и благосостояния, то новый либерализм восполнял чисто формальное равенство социальным равенством, а точнее, «мероприятием, смягчающим чрезмерное социальное неравенство» (Гессен).

Требование условий, достойных человеческого существования, поднимало вопрос о связи правосознания с этическими основами общежития. Ведь гарантия такого права предполагает расширение границ деятельности государства, в том числе и в сфере гражданского общества. Поэтому с переводом требования на уровень социальной практики могут возникнуть проблемы не только в теории права. В качестве юридической категории, предполагающей систему определенных действий (государственной политики), «право на достойное существование» требовало конкретизации содержания. «Когда говорят о *праве* на достойное человеческое существование, — уточнял Новгородцев, — то под этим следует разуметь не положительное содержание человеческого идеала, а только отрицание тех условий, которые совершенно исключают возможность достойной человеческой жизни. Точно так же говорим мы о праве свободной мысли и верующей совести в смысле отрицания

внешних стеснений для духа, хотя хорошо знаем, что положительное осуществление идеала внутренней свободы одним этим не может быть достигнуто»²⁷⁷.

Речь могла идти об освобождении от гнета тех условий, которые убивают человека физически и нравственно. (Только в этом вопросе критерии могут быть более-менее четко очерчены.) Из признания правомерности требования достойного существования каждому вытекали конкретные юридические следствия. Общезначимость требования виделась не только в определении границ достойной жизни, но в *признании государством принципа охраны личности в каждом человеке*. И это, пожалуй, было самое ценное в предложенной новыми либералами интерпретации «прав-обязательств».

Важно, что в контексте нового учения о государственной власти право предлагалось рассматривать в рамках *общей философии* человека и *философии ценностей*, что ограждало правовую культуру от *чрезмерной политизации*. Этот тезис был общим с классическим либерализмом, но в новом либерализме он был более проработан в качестве принципа социальной политики. Новые либералы были убеждены, что верховенство права может существовать и без полной политической свободы, но не наоборот. Как и их предшественники, может, только с большей обоснованностью и практической направленностью, они защищали модель общества, связанного правом, в противоположность обществу, повязанному властными отношениями и подчиненному целям политической власти. Изменение взгляда на природу права и функции государства меняло понимание свободы. «Свобода, — писал С.И.Гессен, (не есть более чисто отрицательное состояние индивида, только запрещающее по отношению к нему определенные поступки, но также и положительное состояние, предписывающее со стороны других определенные акты)»²⁷⁸. Идея «права-притязания» наполняла свободу конструктивным смыслом. Свобода

вместе с негативным содержанием (свобода «от...») приобретала *status positiv*. Понимание свободы как равной и одинаковой для всех возможности произвольного действия заменялось пониманием ее как свободы *самореализации человека*. И в качестве таковой она представляла не как нечто, раз навсегда данное, «одинаково отмеренное всем лицам» конкретными правами, перечисленными «навечно», а как «исторически подвижные возможности личного творчества», как «качество личности, находящееся в непрерывном процессе, могущее расширяться и сужаться, расти и вырождаться»²⁷⁹.

Сфера личных прав понималась в соответствии с идеями классического либерализма как непроницаемость личности для другого лица, в том числе и для государства, как то безусловное ядро личности, которое не позволяет ему превратиться в простое орудие удовлетворения чужих потребностей. В каком-то смысле такое определение свободы было формально, ибо в его рамках не было речи о тех конкретных правах, которые могут быть раз навсегда перечислены, как, скажем, это сделано в «Декларации прав человека». Но оно было более содержательно, считали его защитники, в том смысле, что способно было воспринять полноту фактических социальных реалий и возможных отношений человека с государством.

4.2. Социально-правовой механизм гарантии равенства перед законом

Важное место в либеральной модели общества занимало социальное равенство. Его интерпретация определяет степень новизны всего учения о государстве и соответствии принципов его моделирования. Если для классического либерализма оно означало «подчинение всех граждан одинаковому закону» (Чичерин), что несло в себе по большей части отрицательный смысл (отмену

привилегий, связанных с происхождением, родом занятий, уровнем достатка и т.п.), то новыми либералами оно в большей мере наделялось положительным содержанием. Так, например, равенство в образовании заключается не только в праве каждого ребенка поступать в любую школу, в которую он подготовлен своим воспитанием и полученными знаниями, но и в праве получить то именно образование, в котором он в силу особых условий своего существования *нуждается*. Точно так же равенство в экономической области согласно неолиберализму заключается не только в праве каждого заниматься любым видом предпринимательской деятельности, но в праве пользоваться при этом поддержкой государства. Конкуренция должна быть *fair play* (честной игрой); неравенство включенных в нее сторон не должно идти так далеко, чтобы напомидало жизнь в джунглях. Поддержка слабого в конкурентной борьбе, вплоть до обеспечения его льготными условиями — обязанность государства.

Равенство, таким образом, интерпретировалось как равенство перед законом плюс равные шансы для каждого. Такое толкование предполагало поддержку государством того рода деятельности, в которой человек нуждается и потому правовое государство не может гарантировать подлинного равенства (равенство перед законом), если не в состоянии обеспечить *социального* равенства, равенства исходного пункта. Последнее становится реальностью только как результат соответствующей политики государства. Государство, не вмешиваясь в личную жизнь граждан, *обязано помогать* им своими положительными действиями. Поддержка слабых — это *правовая обязанность государства*. Таково главное *credo* социальной программы неолиберализма. Оно отличало его от либералов старой юридической школы, считавшей, что поддержка нуждающихся скорее задача благотворительности, нежели права. «Этому требованию, — писал в свое время Б.Н.Чичерин, (может удовлетворить уже не пра-

во, а иное начало — любовь. Тут приходится уже не охранять свободу, а восполнять недостаток средств /.../ Право одно для всех; человеколюбие же имеет в виду только известную часть общества, нуждающуюся в помощи. Если бы государство вздумало во имя этого начала изменять свое право, т.е. вместо установления одинаковой свободы для всех обирать богатых в пользу бедных, как этого требуют социалисты, то это было бы не только нарушением справедливости, но вместе с тем извращением коренных законов человеческого общежития»²⁸⁰.

Возражая всему старому либерализму, Новгородцев оценивал приведенный тезис Чичерина, как одну из коренных ошибок правосознания XIX века, и доказывал, что, ставя целью права охрану свободы и отделяя от этого потребность в восполнении средств, старая теория забывала, что *пользование* свободой может быть парализовано недостатком средств. Вот почему, хотя «задача и сущность права состоит действительно в охране личной свободы, но для осуществления этой цели необходима и забота о материальных условиях свободы: без этого свобода некоторых может остаться пустым звуком, недостижимым благом, закрепленным за ними юридически и отнятым фактически»²⁸¹.

Во имя гарантии свободы и достоинства личности — и как человека, и как гражданина (государство *должно* взять на себя заботу о материальных гарантиях свободы и в первую очередь в этой связи обеспечить на деле (принципами гражданского общества) право каждого на достойное существование, которое есть *первейшее* в системе правовых норм и непосредственно связано с практическими реализациями принципов демократии в общественной жизни. «Если есть какая-либо яркая и отличительная черта того нового воззрения, которое все более дает себя знать в различных общественных заявлениях, так это именно — признание за указанным правом не нравственного только, но юридического значения, —

писал Новгородцев. — В этом случае на наших глазах совершается один из тех обычных переходов нравственного сознания в правовое, которыми отмечено прогрессивное развитие права. И, быть может, у нас в России ранее, чем где-либо, этому новому виду права суждено получить ясное принципиальное признание»²⁸². К сожалению, ожидания Новгородцева не оправдались. И сегодня социальная политика в стране игнорирует не только нравственное, но и юридическое значение этого требования. Между тем, повторим, оно есть исходный принцип либерализации общественной жизни, моделирования социальных изменений и их последствий в условиях трансформации социальных институтов на пути к демократизации. Оно есть и гарантия для верховной власти — от искушения и соблазнов, которые открываются стихией перестроечных реформ.

Итак, идея права (подчинения всех без исключения закону) дополнялась в новом либерализме идеей блага. Важно, что благо мыслилось как средство, обеспечивающее реальное равенство всех перед законом и уже по одному тому, как оправдание гегемонии закона, и в этом смысле — как орудие права. Соединение идеи права с идеей блага придавало толкованию права *социальный* смысл. (Еще одно основание для интерпретации новой идеологии именно как социального либерализма.)

Обращение к идее блага, таким образом, вносило коррективы в модель правового государства: *во-первых*, она не исключала государственного регулирования экономики с целью ориентации ее на человека и культуру, чего не принимал старый либерализм; *во-вторых*, эта модель освобождала понятие права от чрезмерного формализма, чего не хватало старому либерализму, причину чего новые либералы усматривали в ограниченности его философской конструкции.

Последняя основывалась, считали они, на «механической концепции общества», в рамках которой общество рассматривалось как «агрегат одинаковых атомов-

граждан», которые, будучи поставлены в одинаковые условия, дадут максимум возможной энергии, поэтому при определении границ свободы и равенства всегда имеющееся между людьми различие (общественное, индивидуальное) не учитывалось. Этой концепции новые либералы противопоставили более органичное понимание общества как живой цельности, как единства многообразия, в котором каждый человек отличен от другого, занимает свое особое и незаменимое, т.е. индивидуальное место. Сфера личных прав интерпретировалась как своеобразная «непроницаемость отдельной личности для любого другого», важнейшим условием которой признавалось наличие минимума благополучия. Именно оно расценивалось как гарантия против любых попыток превращения человека в орудие чужой воли. Другими словами, предлагаемая интерпретация «непроницаемости личности» предполагала правовую и материальную защиту индивидуальности, придавая в глазах государства ее безусловной ценности «Юридический статус». Тем самым понятие равенства освобождалось от «привкуса фактической одинаковости» и очищалось до «понятия равноценности фактически различных между собой личностей»²⁸³.

Итак, повторяем, если для классического либерализма деятельность государства связывалась главным образом с функцией охраны права, то для нового либерализма менялось содержание самой охранительной функции: запретам придавался смысл *положительных предписаний с позиций справедливости*.

4.3. Собственность как «самопродолжение личности в вещах»

Из так понятых отношений личности (ее прав) и государства (его функций) вытекала и новая трактовка отношений собственности. Классический либерализм ос-

новывался на римской идее собственности как неограниченном распоряжении принадлежащими индивиду вещами («полновластие лица над вещью»). В ее рамках ограничение права распоряжаться вещью рассматривалось как посягательство на свободу собственника, как насилие. Для нового либерализма собственность есть *основание и гарантия личной инициативы*: это не принадлежащая индивиду «вещь», а «*материальное поприще человека*», основа его хозяйственно-предпринимательской деятельности и культурного творчества — как бы «самопродолжение личности в вещах»²⁸⁴. Понятие собственности распространялось на условия труда, сам труд и продукты труда, в том числе духовного. Отсюда неприятие монополизации собственности (в равной степени и ренты — «незаработанного дохода») как сковывающей личную инициативу и творческие возможности человека в хозяйственной деятельности. Новые либералы объявили поход против монопольной собственности. В монопольной собственности вещь, предмет владения перестает быть поприщем творческой деятельности. «Монопольная собственность /.../ устраняет свободу инициативы. Вместо того, чтобы служить развитию производительных сил и побуждать к экономическому творчеству, она, напротив, потворствует косности, упраздняя конкуренцию»²⁸⁵.

Признавая в качестве подлинной собственности только частную, новый либерализм был, однако, далек от того, чтобы не видеть другие тенденции в ее развитии. Так одновременно с усилением монополизации констатировалась и другая тенденция, суть которой видели в том, что собственность, оставаясь частной, все более *социализируется* (обобществляется), т.е. становится функцией хозяйственной жизни общества в целом. Будущее связывалось с развитием этого момента собственности, с «*правовым опутыванием*» отношений собственности (вплоть до обобществления вменяемой обществу части

дохода). «Процесс обобществления собственности, — писал Гессен, — есть менее всего простая механическая «аккумуляция капитала». Это есть сложный органический процесс усиления взаимозависимости между отдельными предприятиями и все более и более тесного включения последних *в целое народного хозяйства*»²⁸⁶.

Социальная политика должна учитывать, что, с одной стороны, собственность становится все более сферой *общности*, т.е. оправовляется, с другой стороны, обобществленная таким образом, она все более выступает частной, в смысле *индивидуальной*. (Соответственно, что важно и существенно, хозяйственная деятельность обнаруживает сходство с духовной в плане единства объективного и личного начала.) Тенденция, проявляющаяся в фактическом росте обобществления средств производства и возрастания роли государства в функционировании института собственности, отмечалась как наиболее перспективная и в плане выбора направления социального моделирования развития хозяйственной сферы. Чем более собственность обобществляется в смысле «опутывания» ее правовыми отношениями, выражающими интересы общества, тем очевиднее и ускореннее она социализируется, т.е. развивается в соответствующих требованиям времени и экономического роста формах.

Процессу социализации собственности соответствует процесс ее *индивидуализации*, т.е. установление творчески-активной связи между материальными средствами жизни и собственником. И обратно: чем менее индивидуализирована связь собственника с вещью, тем более антисоциальна данная собственность. В этом смысле процессу обобществления противостоит по сути и по форме огосударствление собственности: путем последнего можно только отменить и уничтожить собственность, но не обобществить ее. Подлинное обобществление

предполагает «наличие множества собственников и потому не нивелировку собственности /.../, а усиление и рост ее индивидуализации»²⁸⁷.

В связи с вопросом о собственности остановимся еще на одном моменте — на отношении нового либерализма к эксплуатации. Последняя толковалась как отсутствие того минимума благополучия, без которого невозможна свобода личности, как важнейший фактор превращения человека в средство реализации целей материального производства, другими словами в товар. Это зло современного общества, считали новые либералы; частично оно нейтрализуемо в пределах правового государства посредством повышения уровня благосостояния и благополучия народа. Но подобным образом, признавали они, нельзя решить вторую сторону проблемы, — связанную с приравниванием труда к товару, а человека к вещи. Эта проблема не разрешима в рамках правового государства, хотя в условиях последнего может быть снята ее острота. (В этом, кстати, неолиберализм видел одну из задач правового государства.) В его рамках, точнее его правовыми средствами, невозможно преодолеть и общий «дух капитализма», проявление которого виделось прежде всего в господстве материального производства (хозяйства, экономики) над общекультурной жизнью общества, в превращении целей развития материального производства (в частности, прироста прибыли) в цель всей общественной жизни.

Правда, оставаясь на позициях правового государства, новый либерализм и не ставил задачу борьбы с «духом капитализма», так как не отрицал его связи с частной собственностью, защитником которой был. Встав на путь оправдания и последовательной реализации регламентаций по расширению государственных функций в сфере экономики, новые либералы вынуждены были бы в конце концов отказаться от главного принципа либерализма и правового государства. Поэтому речь шла

фактически лишь о смягчении духа капитализма средствами подчинения хозяйственной жизни культурным целям человечества.

Итак, рассмотрение вопроса по обозначенным трем пунктам свидетельствует о следующем: социальный либерализм чрезвычайно расширял сферу деятельности государства. Обеспечение права на достойное существование и борьба с монопольной собственностью требуют усиления активности государства в области хозяйственной и культурной работы (школы, страхование, промышленность, земледелие, творчество). Это требование расценивалось как основа социального моделирования. Идеи права, свободы, равенства, собственности наполнялись новым содержанием, приобретая ярко выраженную *социально-культурную ориентацию*, делая реальным освобождение их от исторической ограниченности и излишней формализации. За ними в перспективе утверждался смысл, когда «свобода откроется нам не как произвол себе довлеющего атома Демократии, а как растущая сила *творческой активности*. *Личность* — как движение к сверхличным *объективным* началам жизни. *Равенство* — как равноценность незаменимых в своем *Различии* личностей и *Собственность* — как служение *Общности*»²⁸⁸.

Такая позиция ставила во главу угла проблемы демократии — и как формы государственного устройства, и как принципа общественной жизнедеятельности.

4.4. От демократии политической к демократии общественной

Либеральная модель развития исходит из признания демократии формой правового государства. Важно, что в рамках этой модели демократия не сводима к принципу представительства. Новый либерализм весьма скептически относился к понятиям всеобщей воли или воли

большинства, видя в них фикции, используемые в игре политических сил, и считая, что общий интерес не существует как нечто данное, а формируется как равнодействующая всех борющихся в обществе сил, под контролем государства. При этом меньшинство не может быть принесено в жертву большинства, односторонне подавлено большинством, а должно получить хотя бы частичное признание. Функция государства состоит в поддержке *солидарных интересов людей* — самого ценного с точки зрения общечеловеческих интересов, а значит, в обеспечении должных условий существования этого меньшинства. Важнейший параметр демократического государства, предупреждал С.А.Котляревский, «заключается в том, чтобы эта власть большинства не применялась со всей тиранической полнотой, чтобы у нее были пределы»²⁸⁹. Сама же солидарность — это общественный идеал, следование которому составляет смысл и содержание государственной деятельности в правовом государстве. Последнее и есть по своей природе самая всеобъемлющая форма солидарности. Но не только в плане общественного единения, но и в плане реализации принципов парламентаризма: в плане солидарности правительства с представительством (не с партиями!) как выражением народного мнения. Здесь необходимо отметить следующее.

Одной из главных черт государственной власти, говорили новые либералы, является ее *безличность*: в правовом государстве господствуют не лица, а общие правила или правовые нормы. Для лиц, обладающих властью, последняя является не их субъективным правом, а правовой обязанностью, которую они должны нести как *«общественное служение»*. Это и придает власти правовой характер, и делает ее подзаконной. Поэтому власть в правовом государстве всегда выступает носителем какой-нибудь общественной идеи и в этом смысле должна *иметь нравственное оправдание*.

Это оправдание может включать стремление к утверждению величия страны, заботу о росте благополучия народа, упрочение правового порядка, усиление роли государства в регулировании общественных процессов, в частности экономической жизни, и т.п. Каждый из этих мотивов власти (или их совокупность) составляют одухотворяющую ее основу, без которой она в цивилизованном мире гибнет. Поэтому крайне важно, чтобы эта идея *была*, чтобы она осознавалась и принималась как на уровне государственной политики, так и на уровне обыденного массового сознания, находила реализацию в социальном поведении людей, в деятельности отдельных групп, в политике (внешней и внутренней) государства в целом. «Отношения господства и подчинения утверждаются и укрепляются благодаря идейному оправданию их /.../ Чтобы существовать и быть признаваемой, власть должна себя оправдывать /.../ Только если власть способствует тому, что должно быть, только если она ведет к господству идеи права, только тогда мы можем оправдать ее существование, только тогда можно признать ее правомерной»²⁹⁰.

Только с соблюдением этого условия власть способствует тому, что *должно* быть, в нашем случае — ведет к господству идеи права; только при соблюдении этого условия она может быть признана *правомерной*. Короче говоря, главным основанием власти является ее духовное, нравственное оправдание. Лишь это ведет к господству над ней права. И тогда становится возможным переход *от демократии политической к демократии общественной*. «Для демократии недостаточно одно механическое повиновение граждан государственному закону; от них требуется большее, чем соблюдение закона, большее, чем согласование с нормами права, требуется такая степень солидарности и подчинения своих интересов общему благу, которая не может охватываться никакой правовой нормой»²⁹¹. Конечно, чтобы демократия приобрела та-

кой характер, необходимы условия, главным из которых является нравственное и духовное развитие личности, высокий духовный потенциал всего общества. Так идея власти (государства) увязывалась с идеей свободной личности, которая в таком новом контексте становилась политическим требованием.

Среди средств достижения подобной солидарности важнейшим считалась способность власти к компромиссам и терпимость к плюрализму мнений. «Задача всякого акта государственной власти заключается в том, — подчеркивал Гессен, — чтобы *создавать* общую волю, искать ее путем непрерывного сглаживания интересов, путем отказа определенных общественных групп от одностороннего господства в обществе их интересов, исключаящих все другие»²⁹². Общая воля иррациональна как результат, но она конкретно-реальна как задача политического действия. Отсюда политическая программа либерализма: расширение избирательных прав, защита прав меньшинства, которое не может быть подавлено большинством, сглаживание классовых противоречий путем широкого обращения к компромиссам. Поскольку общая воля — это всегда не готовый факт, а скорее задание, то ни одна группа общества не может узурпировать ее. Избирательные права, привлечение к законодательству и управлению широких масс, непосредственно заинтересованных в способе решения государством новых задач, есть гарантия общего блага, что и является свидетельством демократической власти.

Отсюда вытекало признание множественности партий, выражающих интересы различных групп и вместе с тем необходимость правового ограничения их деятельности со стороны государства с целью недопущения диктатуры одной из них. «Если демократия, — писал Новгородцев, — открывает широкий простор свободной игре сил, проявляющихся в обществе, то необходимо, чтобы эти силы подчиняли себя некоторому высшему

обязывающему их началу. Свобода, отрицающая начала общей связи и солидарности всех членов общения, приводит к самоуничтожению и к разрушению основ государственной жизни»²⁹³. Правовое государство должно и может гарантировать народ и каждого гражданина от деспотизма одного лица, партии, класса или даже «самодержавия народа». Деспотичным может быть государство, построенное на принципе народовластия, а деспотизм народа бывает ужаснее деспотизма отдельного лица. В правовом государстве власть организуется так, чтобы, с одной стороны, она не подавляла личность, а с другой стороны, личность (народ) — были бы не только ее объектом, но и субъектом. Его принцип предполагает *суверенитет*, то есть *верховенство* народа, он не требует во имя общего дела принесения в жертву интересов отдельной личности. Но поэтому демократия невозможна без соответствующего воспитания народа, без поднятия его нравственного уровня.

Таким образом, в системе понятий нового либерализма демократия понималась как выражение *релятивизма*, как запрет любому считать себя выразителем абсолютной истины, как признание за каждым права на искание последней. *Это толкование имело вместе с плюсами свои минусы*. Демократия, готовая допустить всякую политическую возможность, всякую хозяйственную систему (лишь бы это не нарушало начала свободы!) всегда есть «*распутье*» (Новгородцев), «система открытых дверей, расходящихся в неведомые стороны дорог»²⁹⁴. А это при длительности подобного состояния может создавать социальную усталость, ослаблять, образно говоря, бдительность народа, провоцировать всплески анархических или, напротив, авторитарных настроений и ожиданий.

Иными словами, «система свободы и свободной игры жизненных сил, система открытых дверей и неопределенных возможностей» имеет свои издержки. В определенных условиях она может провоцировать анархичес-

кие давления на общество со стороны некоторых групп, или, скажем, усиливает влияние авторитарных настроений и ожиданий и даже их реализацию — ведь в условиях демократии ни один путь «не заказан», ни одно направление не запрещено. (Пример тому — наша сегодняшняя социально-политическая ситуация.) Подобные издержки хорошо понимал сам Новгородцев, обосновавший модель «демократии на распутье». Но в поисках выхода из тупика он предлагал решение, весьма далекое от средств реальной политики. Демократия, как и всякая форма государства, писал Новгородцев, сильна только тогда, когда над ней стоит справедливость, когда народ не забыл, что в мире есть Высшая Воля, перед которой народная воля должна преклониться.

Защищая демократию, новые либералы пытались внести некоторые оговорки. В частности, обосновывалось требование расширения избирательного права, в чем усматривалось правовое ограничение государства в пользу народа. Утверждалось, что демократия есть ограничение государства субъективными правами его граждан, и притом не только отрицательными правами невмешательства в сферу личной свободы, но и положительными правами действия в интересах роста личной активности. Иными словами, она есть привлечение к общему делу множественной активности, что в конечном счете (хотя и не всегда) означает усиление совокупного государственного действия, а это определяет во многих случаях преодоление распутья.

Правовое ограничение государства есть всегда не умаление, а повышение его активности. Вот почему необходимо расширение избирательных прав граждан, привлечение к законодательству широких слоев народа. Последнее толковалось как средство придания правового характера борьбе общественно-политических групп и как принципиальное признание того, что никто сам по себе не является выразителем общей воли народа — последняя есть результат совместных исканий.

Государству в этих исканиях принадлежит роль *посредника*: оно должно способствовать приобщению всех групп к выработке компромиссов, находить «равнодействующую» сталкивающихся интересов. Государство никогда не стоит «лицом к лицу» с отдельными гражданами, а имеет дело с их организованными группами. Поэтому его роль заключается не только в том, чтобы разбирать споры отдельных лиц на основании раз навсегда установленного закона, а и в том, чтобы приобщать все группы к созданию «общей воли», т.е. чтобы постоянно искать компромисс между их различными сталкивающимися интересами, находить «равнодействующую» последних. «Задача государства заключается в том, чтобы быть *надклассовым посредником между классами* и тем самым придавать их борьбе правовую форму»²⁹⁵. Демократия не всегда способна организовать сильную власть, и ее тоже надо защищать. Поэтому в правовом государстве власть должна быть организована так, чтобы отдельная личность и народ могли быть как объектом, так и субъектом власти.

Отметим, что разработка принципов правового государства по рассмотренным направлениям подводила новый либерализм к идее «правового социализма», позицию которого наиболее последовательно разрабатывали Б.А.Кистяковский и С.М.Гессен. Но это было уже позже и это (тема для другого разговора).

Заключение

Итак, мы представили три модели исторического развития России. Несут ли они какой-нибудь урок для современности? Как отвечал на этот вопрос В.О.Ключевский, «История учит даже тех, кто у нее не учится, она их проучивает за невежество и пренебрежение».

Действительно, самодержавие, вызывающее у «красных» аллергию, у «белых» — романтизированной тоску «тонкого колоска» по «русскому полю», завершило полный цикл своего развития в русской истории. Не будем недооценивать его положительной роли. Именно самодержавие создало Великую (единую и неделимую — добавляют его сторонники) Россию. Его роковая ошибка состояла в том, что оно не осознало (не захотело осознать) ограниченности отпущенного ему исторического времени и не сумело (не захотело) реализовать наметившейся в 60-х годах возможности компромиссного «мягкого» выхода из кризисной ситуации через конституционную монархию к либерально-демократическому конституционализму. Даже такой не непредвзятый критик самодержавия, как В.И.Ленин, соглашался, «что осуществление лорис-меликовского проекта *могло бы* при известных условиях быть шагом к конституции, но могло бы и не быть таковым: все зависело от того, что пересилит — давление ли революционной партии и либерального общества или противодействие очень могущественной, сплоченной и не разборчивой в средствах партии сторонников самодержавия»²⁹⁶. Парадокс русской истории, отмеченный С.Л.Франком, Н.А.Бердяевым и др., состоял в том, что все эти три силы объединили свои усилия, и под этим тройным прессингом самодержавие рухнуло, едва не разрушив всю Россию.

Вторая утопическая модель русского социализма, казалось бы, по определению не имела шансов на успех. И тем не менее, как не однажды случалось в истории,

утопия оказалась реализованной, заняв место самодержавного правосознания. Ее успех был обусловлен тем, что в реализации ее объединились вера в социальную справедливость и поведенческий стереотип «анархической вольности», культурным эквивалентом которой может служить «социальная инициатива масс», места для которой не оставляли ни самодержавие, ни классический либерализм. Как всякая утопия, не имеющая научных оснований, идеал «русского социализма» оказался весьма удобным объектом для любых трансформаций, вследствие чего он принял весьма жесткую форму «диктатуры пролетариата», а по существу «диктатуру партии». Опасность подобной трансформации в свое время предвидели Ф.М.Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе» и Вл.Соловьев в «Повести об антихристе». И все же пока мечта о социальной справедливости и социальной активности, т.е. востребованности масс остается нереализованной, а потому сохраняется почва для социальных утопий. И какую форму она примет — стихийного бунта или ухода в призрачные зыби града Китежа, зависит от обстоятельств. И с этим недозволительно «играть» ни одной из политических элит.

И, наконец, третья либеральная модель развития России. Казалось бы, все складывалось в ее пользу: развитие, хотя и замедленное, гражданского общества, формирование, хотя и не по европейским образцам, третьего, среднего класса, формирование либеральных настроений и правосознания, образование Государственной думы и либеральных партий, явная недееспособность монархической власти... И в одночасье все это рухнуло, утонув в Меморандумах Милюкова, в думской говорильне, в речах «главноуговаривающего» Керенского. Либерализм, так и не родившись, почти без боя уступил место массовой социалистической утопии.

И снова, заявив о себе в начале 90-х годов, он в течение 3—5 лет растратил свои кредиты, так и не сумев привлечь на свою сторону массы, жаждавшие перемен. И теперь как итог — о перспективах либеральной модели развития в современной России. Сегодня о шансах либерализма в нашей стране чаще всего говорят не в оптимистических тонах и с изрядной долей раздражения: снова, как уже бывало не раз в российской истории, он не смог выиграть в политической борьбе и должным образом повлиять на ход осуществляемых реформ. Некоторые склонны считать, что либерализм для России снова как бы «умер». В самом деле, Россия не только не является либеральной страной, но пока в ней не просматривается и тенденции к действительной либерализации власти и общественной жизни. Более того, либеральные ценности не занимают должного места в общественном и индивидуальном сознании. Но это понятно — бытие, как известно, определяет сознание. Если нет развитого института частной собственности, цивилизованного рынка, если не укоренены принципы правового государства и соответствующих социальных институтов, то говорить о либеральных ценностях в сознании и социальных ориентациях — нет оснований. Отметим еще один момент. Часто либерализм отождествляется с демократией, от чего более ста лет назад предостерегали его классики. Демократия и либерализм, хотя и взаимосвязаны, но представляют собой различные явления. Демократия не сводится к либерализму уже по одному тому, что либерализм базируется на приоритете самоценности человеческой личности, а демократия предполагает суверенитет, верховенство народа, т.е. приоритет большинства. Между тем политические свободы — это только необходимое условие для построения либерального государства. За последними стоят свои принципы общественной жизни. Иными словами, либерализм пронизан социальными началами в не меньшей степени, нежели

политическими, поскольку либерализм — это идеология благополучного, условно говоря, общества, общества, выполняющего целый ряд прежде всего социально-экономических обязательств перед своими гражданами, важнейшим из которых является обеспечение каждому «минимума благополучия».

Далее, либерализм, как мы показали выше, очень многоплановен и разнообразен: есть «экономический либерализм» с принципом «laissez faire», противопоставляющий общество индивиду, есть «социальный либерализм», акцентирующий понятие справедливости и соответственно требование контроля за такими общественными институтами как образование, здравоохранение и т.п. Либерализм есть система ценностей, защищающая общечеловеческие нормы жизни и завоевания культуры. Либерализм есть определенный тип государственного моделирования — в таком случае первейшим вопросом выступает вопрос о пределах полномочий государства, о верховенстве закона над политикой и т.д. Все эти разнообразные измерения либерализма в его «идеальном типе» завязаны друг на друга, но в реальности часто предстают как нечто самостоятельное и автономное, слабо и не всегда очевидно связанное со своим целым. Поэтому мы склонны не видеть ни этого последнего, ни многообразия его проявлений, выбирая в защите, как и в критике, либерализма какую-то одну его «ипостась» и попадая тем самым в сами же расставленные ловушки.

Как справедливо заметил М.М.Карпович, «Исторический процесс не знает никаких «последних» результатов, никаких «окончательных» побед и поражений»²⁹⁷. В этом смысле возвращение к либеральной альтернативе не закрыто для России. Ее программа не может быть написана ни «с чистого листа», ни по «продвинутому» западным образцам, но предполагает изучение опыта *русского либерализма* как модели *исторического развития страны*. Культурно-исторические традиции русского

либерализма представляют несомненный интерес для понимания современного кризисного состояния страны и, главное, для преодоления этого кризиса и реализации либеральных программ в интересах человека на современном уровне понимания его права на достойное существование.

Принимая во внимание все это, выскажем предположение, пусть не покажется оно странным: может, преждевременно говорить о «смерти» российского либерализма — просто потому, что разве можно умереть раньше, чем родиться?

Именной указатель

А

- Аксаков И.С. – 78, 196, 200
Александр I – 49, 50, 51, 52, 53,
56, 57, 59, 63, 66
Александр II – 66, 67, 68, 69, 71,
72, 73, 74, 75, 77, 80, 170, 172,
176, 179, 185, 187, 190, 196, 202,
206, 209
Александр III – 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 162, 199,
202, 206, 207
Александр Невский – 23
Алексей Михайлович – 29, 33, 61
Алексий митрополит – 21
Анна Иоанновна – 41, 43
Андрей Боголюбский – 19
Анненков П.В. – 130

Б

- Бакунин М.А. – 152, 153
Баталов Э.Я. – 100, 109
Безобразов В.П. – 200
Белинский В.Г. – 128
Бенкендорф А.Х. – 61
Берви-Флеровский В.В. – 152
Бергер П. – 4, 8
Бердяев Н.А. – 94, 117, 212, 248
Блан Л. – 144
Богданович А.В. – 87
Боголепов Н.П. – 89
Борис Годунов – 25
Боткин В.П. – 128
Боханов А.Н. – 87
Булгарин Ф.В. – 95
Бунге Н.Х. – 82

В

- Вебер М. – 211
Вельтман А.Ф. – 95
Вернадский Г.В. – 14
Верас У. – 95
Вигте С.Ю. – 9, 77, 82, 86, 90,
92, 93
Владимир Св. – 17, 23, 38
Владимир Мономах – 17
Володин А.И. – 125
Волоцкий Иосиф – 9, 22
Вольтер Ф.М.А. – 43

Г

- Гегель Г.В.Ф. – 17, 33, 164, 165
Герцен А.И. – 50, 67, 69, 113,
114, 118, 122, 123, 124, 126, 127,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 152, 154,
155, 163, 183, 189, 195, 196, 203
Гессен В.И. – 220
Гессен С.И. – 228, 231, 232, 244,
247
Гизо Ф. – 129, 130
Гоголь Н.В. – 116
Голицын Д.М. – 41
Градовский А.Д. – 10, 13
Грановский Т.М. – 67, 68
Гроций Гуго – 36
Гучков А.И. – 93
- ### Д
- Даль В.А. – 118
Державин Г.Р. – 52
Джаншиев Г.А. – 195

Дибич И.И. – 59
Дмитриев-Мамонов Ф.И. – 95
Дмитрий Пожарский – 26
Добролюбов Н.А. – 152
Достоевский М.Ф. – 52, 116,
249
Дьяконов М. – 22

Е

Екатерина II – 43, 45, 46, 47,
48, 49, 175
Еленев Ф.П. – 189
Елизавета – 42, 43

З

Заичневский П.Г. – 152
Захарова Л.Г. – 67
Зеньковский В.В. – 119, 140,
159, 164, 165

И

Иван Калита – 20
Иван III – 12, 21, 22, 25
Иван IV Грозный – 3, 9, 12,
23, 24, 25, 28
Игнатъев Н.П. – 78
Ильин И.А. – 5, 10, 13, 25, 66,
76, 87, 93, 94

К

Кабе – 97
Кавелин К.Д. – 18, 38, 58, 69,
159, 160, 161, 162, 163, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 206
Кампанелла Т. – 95
Канкрин Е.Ф. – 59
Каптерев Н.Ф. – 30, 31
Карамзин Н.М. – 52, 56, 57
Кара-Мурза А.А. – 39

Кареев Н.И. – 120
Карл XII – 37
Карпович М.М. – 251
Катков М.Н. – 9, 78, 80
Керенский А.Ф. – 249
Кизеветтер А.А. – 43, 185, 186,
191, 211, 217
Киреевский И.В. – 116
Кистяковский Б.А. – 220, 226,
227, 247
Кириллов И. – 23
Киселев П.Д. – 59, 64, 176, 177
Ключевский В.О. – 20, 27, 36, 37,
39, 41, 42, 43, 56, 75, 76, 248
Коркунов Н.М. – 10, 11, 226
Корнель – 43
Корнилов А.А. – 67, 70, 200
Корф М.А. – 59
Костомаров Н.И. – 32
Котляревский С.Я. – 230, 242
Кочубей В.П. – 52
Краевский А.А. – 128
Критские В.М., П.В. – 127
Кузьма Минин – 26
Курбский Андрей – 23, 24
Кутузов М.И. – 50

Л

Лавров П.Л. – 120, 152, 154
Лагарп – 49
Ламартин – 101
Ланской С.С. – 69, 186, 188, 190, 197
Лейбниц И.-Г. – 36
Ленин В.И. – 248
Леонтьев К.Н. – 16, 58, 77, 116, 123
Леонтович В.В. – 199
Лесков Н.П. – 116

Литвак Б.Г. – 74
Лопатин Г.А. – 154
Лорис-Меликов М.Т. – 74, 76,
77, 79, 85
Лукман Т. – 4, 8

М

Мабли Г. – 95
Маклаков В.А. – 207, 216, 217
Манхейм К. – 101, 106
Маркиз де-Кюстин – 58, 65
Маркс К. – 75, 173, 215
Медушевский А.Н. – 226
Мелье Ж. – 217, 249
Милюков П.Н. – 14, 31, 180,
208, 216
Милютин В.А. – 63
Милютин Д.А. – 69, 141, 142, 143
Милютин Н.А. – 186, 188, 190,
191, 197
Миль Д. С. – 144, 145
Михаил Романов – 29, 87
Михайлов М.О. – 152
Михайловский Н.К. – 120, 152
Мор Т. – 95, 96, 97
Морелли – 95
Мэмфорд – 100

Н

Назианзин Григорий – 15
Назимов В.И. – 68, 188
Налимов В.В. – 5
Наполеон Б. – 50
Нерескул М.Ф. – 154
Никитенко А.В. – 196
Николай I – 57, 58, 59, 60, 62,
63, 64, 65, 127, 175, 178, 203

Николай II – 86, 87, 88, 89, 92,
93, 207
Никон патриарх – 30, 31, 32, 33, 34
Новгородцев П.И. – 208, 209, 214,
215, 220, 221, 224, 226, 228, 232
Новиков Н.И. – 49

О

Огарев Н.П. – 113, 114, 123, 124,
126, 127, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 140, 141
Оуэн Р. – 95, 124, 128, 144

П

Павел I – 25, 39, 45, 50
Павленко Н.И. – 35
Пайпс Р. – 19
Паскевич И.Ф. – 59
Пестель П.И. – 95, 124, 125, 126,
127, 129
Петр I – 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 66, 69,
81, 162, 163, 170
Петр III – 43, 45
Петр митрополит – 21
Петражицкий Л.И. – 226, 228
Печерин В.С. – 128
Писарев Д.И. – 152
Платон – 95
Платонов С.Ф. – 19, 26
Плеве В.К. – 89, 208
Плеханов Г.В. – 80, 82
Победоносцев К.П. – 9, 77, 78, 82
Погодин М.П. – 66, 67
Поляков Л.В. – 39
Покровский И.А. – 226
Пресняков А.Е. – 58

Пугачев Е. – 202
Пустарнаков В.Ф. – 209, 213
Пуфендорф – 36
Пушкин А.С. – 38, 39, 50, 59, 116

Р

Радищев Н.А. – 95
Растрелли – 43
Распутин Г. – 87, 92
Розанов В.В. -116
Ростовцев Я.И. – 180, 186, 189, 190
Руссо Ж.-Ж. – 13

С

Сакулин П. – 124, 129
Салтыков-Щедрин М.Е. – 195
Самарин Ю.Ф. – 69
Свентоховский А. – 98, 107
Сен-Симон К. А. – 95, 110, 112, 113, 114, 124, 128, 144
Сергей Александрович, вел. кн. – 89
Серно-Соловьевич Н.А. – 152
Сипягин Д.С. – 89
Смит А. – 186
Соловьев А.Я. – 175, 178, 186
Соловьев В.С. – 34, 38, 105, 116, 166, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 249
Соловьев С.М. – 10, 14, 19, 27
Соловьев Э.Ю. – 223
Сорский Нил – 5
Софья Палеолог – 22
Сперанский М.М. – 30, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61
Сталь де Ж. – 50
Станкевич Н.В. – 127
Стахович М.А. – 208

Столыпин П.А. – 88, 92, 193
Струве П.Б. – 207, 208, 213
Сумароков А.П. – 43
Сунгуров Н.П. – 127
Сыромятников Б.И. – 35, 180, 184
Сьоран Э.М. – 101

Т

Твардовская В.А. – 79
Тихомиров Л.А. – 10, 11, 13, 19, 21, 66
Ткачев П.Н. – 152
Толстой Д.А. – 78
Толстой Л.Н. – 80, 116
Тургенев И.С. – 72

У

Уваров С.С. – 59, 62, 63
Унковский А.М. – 69, 192, 193, 194
Уткин А.И. – 36, 92
Уэллс Х.Г. – 108

Ф

Федотов Г.П. – 87
Федотова В.Г. – 154
Феофан Прокопович – 36
Филофей – 22, 23
Флоровский Г.В. – 100, 101, 104, 107, 115, 121, 122
Фойгот – 103, 106
Франк С.Л. – 116, 118, 208, 248
Фурье Ш. – 95, 124, 128, 144

Х

Херасков Т.М. – 95
Хомяков А.С. – 116, 208

Ч

Чаадаев П.Я. – 95, 116
Чарторыйский Адам – 51

Чернышевский Н.Г. – 67, 69,
120, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 163

Черткова Е. – 114, 117, 149

Чичерин Б.Н. – 10, 11, 15, 44,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 184, 185, 186,
207, 221, 224, 233, 234, 235

Ш

Шанин Т. – 201

Шацкий Е. – 97, 98

Шелгунов Н.В. – 152

Шелохаев В.В. – 157

Шильдер Н.К. – 60

Шипов Д.Н. – 208

Шувалов И.И. – 43

Щ

Шульгин В.В. – 93

Щербатов М.М. – 95

Э

Эйдельман Н.Я. – 70

Энгельс Ф. – 75

Ю

Юрий Долгорукий – 17

Я

Ярослав Мудрый – 17

Resume

In the book three models of social-historic development in Russia from the middle of 19th to the beginning of XXth century are being investigated. These models are seen as almost completely or partially realised in social practice.

Relying on the principle of modality the authors suggest an analysis and reinterpretation from the point of view of contemporary social knowledge of the following three models:

— **Autocracy** (*samoderzhavije*) is seen as a model almost completely realised in history; therefore it's possible to describe its constructive principles, dynamics and limits of development:

— **Utopian model of Russian socialism**, which was tenaciously persistent and reproduced in Russian social thought;

— **Model of Russian liberalism** is seen a probable historic alternative which have not been realised but is still open up to now.

Примечания

- 1 *Бирюков Б.В., Геллер Е.С.* Кибернетика в гуманитарных науках. М., 1973.
- 2 *Питер Бергер, Томас Лукман.* Социальное конструирование реальности. М., 1995. С. 9, 13. Современную интерпретацию этой программной для нас работы см.: *Смирнова Н.М.* От социальной метафизики к феноменологии «естественной установки». М., 1997.
- 3 *Налимов В.В.* Теория эксперимента. М., 1971. С. 7-8.
- 4 *Питер Бергер, Томас Лукман.* Социальное конструирование реальности. С. 111.
- 5 *Чичерин Б.Н.* Курс государственной науки. М., 1894. Ч. 1. С. 60-62.
- 6 Там же. С. 133, 134.
- 7 *Коркунов Н.М.* Русское государственное право. Т. 1. СПб., 1908. С. 210, 211.
- 8 *Панарин А.С.* Философия политики. М., 1996. С. 27.
- 9 *Градовский А.Д.* Начала русского государственного права // Собр. соч. В 7 т. СПб., 1901. Т. 7. С. 186.
- 10 *Миллюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 77.
- 11 *Вернадский Г.В.* Начертания русской истории // Очерк русской философии истории. М., 1996. С. 202.
- 12 *Чичерин Б.Н.* О народном представительстве. М., 1899. С. 579.
- 13 Цит. по: *Ильин И.А.* О монархии и республике. Собр. соч. в 10 т. М., 1994. Т. 4. С. 470.
- 14 *Леонтьев К.* Избранное. М., 1993. С. 19-20.
- 15 *Дулов А.В.* Географическая среда и история России. Конец XV — середина XIX в. М., 1983, с. 60-61.
- 16 *Кавелин К.Д.* Краткий взгляд на русскую историю // *Он же.* Наш умственный строй. М., 1898. С. 159.
- 17 *Платонов С.Ф.* Лекции по русской истории. М., 1993. С. 135; см.: *Ричард Пайпс.* Россия при старом режиме. М., 1993.
- 18 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Он же.* Соч. В 18 кн. Кн. I, т. II. М., 1988. С. 512.
- 19 Там же. С. 514.
- 20 *Ключевский В.О.* Курс русской истории // *Он же.* Соч. В 9 т. Т. II. М., 1988. С. 19.
- 21 Там же. С. 20.
- 22 См.: *Карташев А.В.* Очерки по истории русской церкви. М., 1993: Московский период А.

- 23 *Иосиф Волоцкий*. Просветитель, или Обличение ереси
жидовствующих. Казань, 1857. Сл. 13.
- 24 *Дьяконов М.* Власть московских государей. СПб., 1889. С. 97, 101.
- 25 Послание старца Филофея к великому князю Василию // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984. С. 441.
- 26 *Кириллов И.* Третий Рим. Очерк исторического развития русского мессианизма. М., 1914. С. 27. Исследователи 40—50-х гг., критически настроенные к идее влияния византизма на русскую историю и справедливо подчеркивающие сопровождавшую его идейную борьбу, в частности в связи с намерениями светской власти секуляризации монастырских земель, не отрицают, однако, влияния данной концепции на формирование господствующей идеологии. См., напр.: *Масленникова Н.Н.* Идеологическая борьба в псковской литературе в период образования Русского централизованного Государства // ТДРРЛ. М.-Л., 1951. Т. VIII.
- 27 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 122.
- 28 Технологии власти и тогда были разработаны, хотя и в духе своего времени, но достаточно профессионально. См. сцену выборов царя Бориса в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов».
- 29 *Платонов С.Ф.* Очерки по истории русской Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. СПб., 1899. С. 565.
- 30 Там же. С. 568.
- 31 *Соловьев С.М.* Исторические письма // *Он же*. Соч. В 18 кн. Кн. XVI. С. 379.
- 32 *Ключевский В.О.* Курс русской истории // *Он же*. Соч. В 9 т. Т. III. М., 1988. С. 62, 63.
- 33 *Кантерев Н.Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. Сергиев Посад, 1909. С. 161.
- 34 *Милоков П.Н.* Очерки истории русской культуры. В 3 т. Т. 2. М., 1994. С. 54.
- 35 См.: *Кантерев Н.Ф.* Цит соч.
- 36 *Соловьев В.С.* История и будущность теократии // *Он же*. Собр. соч. Т. IV. СПб., 1914. С. 249.
- 37 *Павленко Н.И.* Петр Великий. М., 1990.
- 38 *Сыромятников Б.И.* «Регулярное» государство Петра Первого и его идеология. М.-Л., 1943. Ч. I. С. 152.
- 39 См.: *Молчанов Н.Н.* Дипломатия Петра Первого. М., 1986. С. 428.
- 40 *Уткин А.И.* Вызов Запада и ответ России. М., 1996. С. 72.
- 41 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Т. IV. С. 25.
- 42 *Соловьев В.С.* Владимир Святой и христианское государство // *Он*

- же. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1989.
- 43 ПСЗРИ (1649 г.). Т. V (1713-1719). С. 1830.
- 44 Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Русские о Петре I. Опыт
аналитической антологии. Иваново, 1994. С. 14.
- 45 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Т. IV. С. 203.
- 46 Там же. С. 206.
- 47 *Ключевский В.О.* Литературные портреты. М., 1991. С. 452.
- 48 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Т. IV. С. 312.
- 49 *Кизеветтер А.А.* Россия // Энцикл. словарь /Брокгауз и Эфрон.
СПб., 1899. Т. 23. С. 473.
- 50 *Чичерин Б.Н.* Собственность и государство. М., 1882. С. 23.
- 51 Екатерина. Наказ. В издании Чечулина. СПб., 1907. В скобках
указаны номера статей «Наказа».
- 52 См.: *Каменский З.А.* Философские идеи русского просвещения. М.,
1971; Русские просветители (от Радищева до декабристов). В 2 т.
М., 1966.
- 53 Мемуары князя Адама Чарторыйского. Т. 1. М., 1912. С. 235.
- 54 *Сперанский М.М.* Проекты и записки. М.-Л., 1961. С. 56.
- 55 Там же. С. 147, 154, 222.
- 56 *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политических
и гражданских отношениях. М., 1991. С. 48.
- 57 Там же. С. 90.
- 58 *Пресняков А.Е.* Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925.
- 59 *Маркиз де-Кюстин.* Николаевская Россия. М., 1990. С. 92.
- 60 *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый. Его жизнь и
царствование. Т. I. СПб., 1903. С. 147.
- 61 *Пресняков А.Е.* Апогей самодержавия. С. 57.
- 62 Цит. по: *Барсуков Н.* Жизнь и труды Н.П.Погодина. Кн. 4. СПб.,
1891. С. 82-83.
- 63 *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры. Т. 2, ч. 2. С. 30.
- 64 *Маркиз де-Кюстин.* Николаевская Россия. С. 215.
- 65 *Погодин М.П.* Историко-политические письма и записки в
продолжении Крымской войны. М., 1874. С. 317, 336.
- 66 *Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 203.
- 67 Полярная звезда. 1855. Кн. 1.
- 68 *Захарова Л.Г.* Александр II // Российские самодержцы (1801-1917).
М., 1993. С. 177.
- 69 Голоса минувшего. 1916. № 5-6. С. 393.
- 70 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. № 9, 15 февр. 1858.
- 71 *Чернышевский Н.Г.* О новых условиях сельского быта // Современник. 1858. № 2. С. 393.

- 72 *Корнилов А.А.* Крестьянская реформа. СПб., 1905. С. 158-159.
- 73 *Эйдельман Н.* «Революция сверху» в России. М., 1989. С. 123, 128.
- 74 Литература социально-революционной партии «Народной воли». Лейпциг, 1905. С. 155, 159.
- 75 *Ильин И.А.* О монархии и республике. С. 520-21.
- 76 *Литвак Б.Г.* Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. С. 254.
- 77 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 18. С. 543. См. также: Т. 21. С. 197; Т. 35. С. 148.
- 78 *Ключевский В.О.* Русская историография. 1861-93 // *Он же.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 183, 184.
- 79 *Витте С.Ю.* Воспоминания. Т. 1. М., 1960. С. 188-189, 408.
- 80 Русский архив. 1913. № 1. С. 108 и далее.
- 81 *Твардовская В.А.* Александр III // Российские самодержцы. М., 1993. С. 273, 274.
- 82 *Толстой Л.Н.* Собр. соч. Т. 19. М., 1984. С. 392.
- 83 К.П.Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М.-Пг., 1923. Т. 1, № 518.
- 84 *Плеханов Г.В.* Царствование Александра III // *Он же.* Соч. Т. XXIV. М.-Л., 1927. С. 165.
- 85 Там же. С. 168.
- 86 *Витте С.Ю.* Воспоминания. Т. 1. С. 413-414.
- 87 Там же. С. 436.
- 88 *Богданович А.В.* Дневник. — Три последних самодержца. Пг., 1924. С. 240.
- 89 *Боханов А.Н.* Николай II // Российские самодержцы (1801—1917). М., 1993. С. 356.
- 90 Полн. собр. речей императора Николая II. 1894—1906. СПб., 1906. С. 7.
- 91 Переписка Н.А.Романова и П.А.Столыпина // Красный архив. 1924. № 5. С. 115.
- 92 *Витте С.Ю.* Воспоминания. Т. III. М., 1960. С. 3,4.
- 93 Полн. собр. речей императора Николая II. С. 74-75.
- 94 *Уткин А.И.* Вызов Запада и ответ России. Гл. «На пути к катастрофе».
- 95 *Ильин И.А.* Почему сокрушился в России Монархический строй? (8 статей) // *Он же.* Собр. соч. в 10 т. М., 1993. Т. II.
- 96 *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 109, 110.
- 97 Аристотель, правда, называет первым человеком, задумавшим говорить о лучшем государстве, — Гипподама Милетского,

- составившего схематический проект политического переустройства.
- 98 См.: Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой половины XIX века. М., 1947; *Клибанов А.И.* Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1971; *Коган Л.А.* Идея равенства в русском народном свободомыслии второй половины XVIII — начала XIX века // Филос. науки. 1964. № 1; *Пармонов Ю.А.* Социальные утопии в России последней трети XVIII — второй четверти XIX в. Свердловск, 1971; *Святловский В.В.* Русский утопический роман. Пг., 1922; *Чечулин Н.Д.* Русский социальный роман XVIII века. СПб., 1900; *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967 и др.
- 99 *Святловский В.В.*, издавший свой «Каталог Утопий» в 1925 году, свидетельствовал, что число произведений «типа утопии» только экономического, социально-философского и политического содержания к тому времени доходило почти до двух тысяч. См.: *Святловский В.В.* Каталог Утопий. М.-Пг., 1926. С. 3.
- 100 *Шацкий Ежи.* Утопия и традиция. М., 1990. С. 34.
- 101 *Фойгот А.* Социальные утопии. СПб., 1906. С. 17.
- 102 *Свентоховский А.* История утопии. М., 1910. С. 61.
- 103 Там же.
- 104 *Шацкий Ежи.* Утопия и традиция. С. 198-199.
- 105 *Флоровский Г.В.* Метафизические предпосылки утопизма // *Вопр. философии.* 1990. № 10. С. 87.
- 106 *Баталов Э.Я.* Социальная утопия и утопическое сознание в США. М., 1982. С. 28.
- 107 *Манхейм К.* Идеология и утопия // *Он же.* Диагноз времени. М., 1994. С. 165.
- 108 *Фойгот А.* Социальные утопии. С. 6-7.
- 109 *Флоровский Г.В.* Метафизические предпосылки утопизма // *Вопр. философии.* 1990. № 10. С. 84.
- 110 Там же. С. 83.
- 111 Там же. С. 84.
- 112 *Валицкий А.* Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Вып. 1. М., 1991. С. 13.
- 113 Там же.
- 114 *Баталов Э.Я.* Социальная утопия и утопическое сознание в США. С. 19.
- 115 *Свентоховский А.* История утопии. С. 410.
- 116 *Флоровский Г.В.* Метафизические предпосылки утопизма // *Вопр. философии.* 1990. № 10. С. 86.
- 117 Там же. С. 23

- 118 Уэллс Х.Г. Современная утопия. СПб., 1906. С. 16.
- 119 Свентоховский А. История утопий. С. 410.
- 120 Сен-Симон. Взгляд на собственность // *Он же*. Избр. соч. М.-Л., 1948. Т. II. С. 363.
- 121 В 1829 г. ученики Сен-Симона (Базар, Анфантен) изложили его учение в виде лекций, оформленных в книгу, которую назвали «Учение Сен-Симона. Изложение». Эта книга соединила Сен-Симона с социалистами-утопистами следующего поколения. В России представителями этого нового поколения стали А.И.Герцен и Н.П.Огарев, не только воспринявшие идеи сенсимонизма, но и давшие ему новую жизнь — с учетом реалий середины XIX века.
- 122 Сен-Симон. Взгляд на собственность. Т. I. С. 355.
- 123 Там же. С. 416.
- 124 Сен-Симон. О промышленной системе // *Он же*. Избр. соч. Т. II. С. 39.
- 125 Сен-Симон. Взгляд на собственность // Там же. Т. I. С. 78.
- 126 Там же. С. 126.
- 127 Черткова Е. Утопизм // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 528.
- 128 Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Филос. науки. 1990. № 5. С. 84.
- 129 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 57, 63.
- 130 См.: Черткова Е. Указ. соч. С. 531.
- 131 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1, ч. 1. С. 17.
- 132 Лавров П.Л. Исторические письма // *Он же*. Избранные произведения. Философия и социология. Т. 2. М., 1965. С. 54.
- 133 См.: Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса // *Он же*. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 69.
- 134 Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма // *Вопр. философии*. 1990. № 10. С. 88, 89.
- 135 Во всяком случае, думается, есть немалая доля истины в следующем суждении П.Б.Струве: «Русская интеллигенция, как особая культурная категория, есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало» // Вехи. М., 1990. С. 173.
- 136 Весь земельный фонд предлагалось разделить на две части: — общественную, создающуюся за счет отторжения части помещичьих владений, и частную. Первая предназначалась для

- бесплатной раздачи в пользование всем нуждающимся. Вторую предполагалось сделать предметом купли-продажи.
- 137 *Володин А.И.* Начало социалистической мысли в России. М., 1966. С. 26.
- 138 См. об этом: *Экштут А.С.* Раздробим монумент Аракчеева. Опыт контрфактического моделирования // *Вопр. философии.* 1996. № 10.
- 139 *Герцен А.И.* Былое и думы // *Он же.* Собр. соч. В 30 т. Т. 8. М., 1954-56. С. 152.
- 140 *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. СПб., 1909. С. 226.
- 141 *Герцен А.И.* О развитии революционных идей в России // *Он же.* Собр. соч. В 9 т. Т. 3. С. 470.
- 142 *Герцен А.И.* Порядок торжествует! // *Он же.* Собр. соч. В 30 т. Т. 19. С. 193.
- 143 *Герцен А.И.* К старому товарищу // Там же. Т. 20, кн. 2. С. 593.
- 144 Там же.
- 145 *Герцен А.И.* Былое и думы // Там же. Т. 11. С. 253, 249.
- 146 *Герцен А.И.* С того берега // Там же. Т. 6. С. 34.
- 147 *Герцен А.И.* Старый мир и Россия. Письма к В.Линтону. Письмо первое // Там же. Т. 12. С. 186.
- 148 *Огарев Н.П.* Письма к соотечественнику // *Он же.* Избр. социально-политические и философские произведения. Т. 1-2. М., 1952-56. Т. 1. С. 363.
- 149 *Герцен А.И.* // *Он же.* Собр. соч. В 30 т. Т. 13. С. 179.
- 150 *Герцен А.И.* Порядок торжествует // Там же. Т. 19. С. 186.
- 151 *Огарев Н.П.* Русские вопросы. Крестьянская община // *Он же.* Избр. соц.-полит. и филос. произведения. Т. 1. С. 162.
- 152 *Герцен А.И.* К концу года // *Он же.* Собр. соч. В 30 т. Т. 18. С. 469.
- 153 *Герцен А.И.* Старый мир и Россия // Там же. Т. 12. С. 186.
- 154 *Герцен А.И.* Письма из Франции и Италии // Там же. Т. 5. С. 12-13.
- 155 *Герцен А.И.* К старому товарищу // Там же. Т. 20, кн. 2. С. 577.
- 156 *Герцен А.И.* Письма к путешественнику. Письмо второе // Там же. Т. 18. С. 357.
- 157 *Герцен А.И.* Концы и начала // Там же. Т. 16. С. 346.
- 158 *Зеньковский В.В.* История русской философии. Т. 1, ч. 2. Л., 1991. С. 101.
- 159 *Огарев Н.П.* Частные письма об общем вопросе // *Он же.* Избр. соц.-полит. и филос. произведения. Т. 1. С. 731.
- 160 *Герцен А.И.* К старому товарищу // *Он же.* Собр. соч. В 30 т. Т. 20, кн. 2. С. 592.
- 161 *Огарев Н.П.* С утра до ночи // *Он же.* Избр. соц.-полит. и филос. произведения. Т. 2. С. 199.
- 162 *Огарев Н.П.* Письмо к автору «Возражения на статью «Колокола» // Там же. Т. 1. С. 318.

- 163 *Миллютин В.А.* Опыт о народном богатстве, или О началах политической экономии // *Он же.* Избр. произведения. М., 1946. С. 346.
- 164 Там же. С. 347.
- 165 *Миллютин В.А.* Пролетарий и пауперизм в Англии и во Франции // *Он же.* Там же. С. 162.
- 166 Там же. С. 380.
- 167 *Чернышевский Н.Г.* Письмо Г.И. и Е.Е.Чернышевским 22 ноября 1849 г. // *Он же.* Полн. собр. соч. В 15 т. Т. 14. М., 1948-1950. С. 167.
- 168 *Чернышевский Н.Г.* Подстрочные примечания к переводу Милля // Там же. Т. 9. С. 836.
- 169 В этой связи, присоединяясь к точке зрения А.И.Володина, отметим, что вряд ли прав был Г.В.Плеханов, считавший, что для Чернышевского главная задача заключалась «не в изучении объективного хода развития нынешнего общества, а в исследовании того, каким должно быть будущее общество» (*Плеханов Г.В.* Соч. Т. VI. М.-Л., 1925. С. 70). Именно настоящее становится для Чернышевского отправной точкой в экономическом обосновании социалистического идеала. (См.: *Володин А.И.* Утопия и история. М., 1976. С. 215.)
- 170 *Чернышевский Н.Г.* Основания политической экономии // *Он же.* Полн. Собр. соч. В 15 т. Т. 9. С. 222.
- 171 *Чернышевский Н.Г.* Июльская монархия // Там же. Т. 7. С. 168-169.
- 172 *Чернышевский Н.Г.* Основания политической экономии. С. 222.
- 173 *Чернышевский Н.Г.* // Там же. С. 860-861.
- 174 См.: *Чернышевский Н.Г.* Основания политической экономии. С. 334.
- 175 *Чернышевский Н.Г.* Экономическая деятельность и законодательство // Там же. Т. 5. С. 589.
- 176 *Чернышевский Н.Г.* Основания политической экономии. С. 902.
- 177 *Чернышевский Н.Г.* Очерки из политической экономии (по Миллю) // Там же. Т. 9. С. 487.
- 178 *Чернышевский Н.Г.* Избранные экономические произведения. Т. 1. С. 728.
- 179 Там же.
- 180 См.: *Чернышевский Н.Г.* О поземельной собственности // *Он же.* Полн. Собр. соч. В 15 т. Т. 4. С. 434-436.
- 181 *Чернышевский Н.Г.* Капитал и труд // Там же. Т. 7. С. 54.
- 182 Напомним, что Маркс в послесловии ко 2 тому «Капитала» называл Чернышевского «великим русским ученым и критиком», мастерски показавшим в своих работах «банкротство буржуазной политической экономии» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 17-18).
- 183 *Чернышевский Н.Г.* Очерки из политической экономии (по Миллю).

- С. 854.
- 184 См.: *Черткова Е.* Указ. соч. С. 531.
- 185 *Чернышевский Н.Г.* Очерки из политической экономии (по Миллю). С. 421-422.
- 186 См.: *Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г.* Революционная традиция в России. М., 1986.
- 187 Там же. С. 237.
- 188 *Бакунин М.А.* Наша программа // Народническая экономическая литература. Избр. произведения. М., 1958. С. 121.
- 189 *Федотова В.Г.* Анархия и порядок в посткоммунистической России // На перепутье. М., 1999. С. 126.
- 190 *Герцен А.И.* О развитии революционных идей в России // *Он же.* Собр. соч. в 8 т. Т. 3. М., 1975. С. 971.
- 191 *Герцен А.И.* К старому товарищу // *Он же.* Собр. соч. В 30 т. Т. 20, кн. 2. С. 590.
- 192 См.: *Новикова Л.И., Сиземская И.Н.* Либеральные традиции в культурно-историческом опыте России // Свободная мысль. 1993. № 15; *Леонтович В.В.* История либерализма в России. М., 1995; *Приленский В.И.* Опыт исследования мировоззрения ранних русских либералов. М., 1995; Либерализм в России. М., 1996; Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997; Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. М., 1999.
- 193 *Шелохаев В.В.* Либеральная модель переустройства России. М., 1999. С. 3.
- 194 *Зеньковский В.В.* История русской философии. Л., 1991. Т. 1, ч. 2. С. 152.
- 195 *Кавелин К.Д.* Взгляд на юридический быт древней Руси // *Он же.* Наш умственный строй. С. 22.
- 196 *Кавелин К.Д.* Задачи психологии // *Он же.* Собр. соч. СПб., 1899. Т. 3. С. 643, 644.
- 197 *Кавелин К.Д.* Краткий взгляд на русскую историю // *Он же.* Наш умственный строй. С. 168.
- 198 *Кавелин К.Д.* Философия и наука в Европе и у нас // Там же. С. 289.
- 199 См.: *Зорькин В.Д.* Чичерин. М., 1984; *Приленский В.И.* Опыт исследования мировоззрения ранних русских либералов. М., 1995; *Новикова Л.И., Сиземская И.Н.* Либерализм в России: модель Чичерина // Власть. 1997. № 4.
- 200 *Зеньковский В.В.* История русской философии. Т. 2, ч. 1. С. 153.
- 201 *Чичерин Б.Н.* Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 74.
- 202 *Зеньковский В.В.* История русской философии. Т. 2, ч. 1. С. 159.

- 203 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. Ч. 1. М., 1882. С. V-VI.
- 204 Чичерин Б.Н. Наука и религия. М., 1901. С. 24.
- 205 См.: Приленский В.И. Опыт исследования мировоззрения ранних русских либералов. М., 1995; «Полемика с Вл. Соловьевым».
- 206 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. С. 34.
- 207 Там же. С. 154.
- 208 Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1900. С. 225.
- 209 Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России. СПб., 1906. С. 7.
- 210 Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856. С. 575-576.
- 211 Анонимная бесцензурная статья Чичерина // Записки С.П.Трубецкого. СПб., 1907. С. 131.
- 212 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия. Берлин, 1901. С. 147.
- 213 Чичерин Б.Н. Вопросы политики. СПб., 1901. С. 81.
- 214 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. Ч. 1. С. 414.
- 215 Там же. С. 405.
- 216 Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 1. СПб., 1888.
- 217 Из записки Н.И.Тургенева, направленной в адрес императора Александра I, цит. по: Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 1. СПб., 1888. С. 449.
- 218 Записка сенатора А.Я.Соловьева о крестьянском деле // Русская старина. 1881. Кн. 2.
- 219 Там же. С. 217.
- 220 Там же. С. 221.
- 221 Сыромятников Б.И. Константин Дмитриевич Кавелин // Освобождение крестьян. Деятели реформы. М., 1911. С. 178.
- 222 Кавелин К.Д. Записка об освобождении крестьян в России // Он же. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1904. Стб. 6.
- 223 Там же. Стб. 34.
- 224 Там же. Стб. 42.
- 225 Письма К.Д.Кавелина и Ив.С.Тургенева Ал.Ив.Герцену. Женева, 1892. С. 39.
- 226 Кавелин К.Д. Записка об освобождении крестьян в России. Стб. 51-52.
- 227 Кавелин К.Д. Две речи о крестьянской реформе // Он же. Собр.соч. Т. 2. Стб. 649.
- 228 Сыромятников Б.И. Цит. соч. С. 199.
- 229 Чичерин Б.Н. О крепостном состоянии // Голоса из России. Кн. 2. Лондон, 1856. С. 130-131.
- 230 Чичерин Б.Н. О современном состоянии русской жизни // Там же.

- С. 112.
- 231 Там же. С. 115, 119, 121, 124, 125.
- 232 См.: *Зайончковский П.А.* Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861. М., 1958.
- 233 Воспоминания Б.Н.Чичерина. Московский Университет. М., 1929. С. 251.
- 234 *Кизеветтер А.* Император Александр II и реформа 19 февраля 1861 г. // Освобождение крестьян. Деятели реформы. М., 1911. С. VIII.
- 235 Воспоминания Б.Н.Чичерина. Московский университет. С. 131.
- 236 Записка А.И.Левшина // Русский архив. 1885. Кн. 2. С. 504, 499.
- 237 *Еленев Ф.П.* Первые шаги освобождения крестьян // Русский архив. 1886. № 2. С. 59.
- 238 *Богословский М.* Яков Иванович Ростовцев // Освобождение крестьян. Деятели реформы. С. 223-224.
- 239 Записка А.Унковского, принятая в качестве официального документа большинством Тверского комитета, была в сокращенном варианте опубликована в «Колоколе», № 39 от 1 апреля 1859 г., позже в развернутом виде она опубликована в кн.: *Джанишева Г.А.* А.М.Унковский и освобождение крестьян. М., 1894.
- 240 *Джанишев Г.А.* А.М.Унковский и освобождение крестьян. М., 1894. С. 61.
- 241 См.: Колокол. 15 июня 1859.
- 242 См.: Голоса из России. Кн. 9. Лондон, 1860. С. 16-17.
- 243 *Джанишев Г.А.* Эпоха великих реформ. М., 1990. С. 48.
- 244 *Пытин А.Н.* М.Е.Салтыков. СПб., 1900. С. 89-90.
- 245 *Никитенко А.В.* Дневник. Т. 2. М., 1955. С. 177.
- 246 Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник законодательных актов. М., 1954. Далее ссылки на статьи «общего положения» даются в тексте.
- 247 *Леонтович В.В.* История либерализма в России. М., 1995. Гл. «Законы об освобождении и их позднейшее толкование».
- 248 *Корнилов А.А.* Крестьянская реформа. СПб., 1905. С. 158-159.
- 249 *Барсуков Н.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1904. Т. XVIII. С. 15.
- 250 См.: Безобразов В.П. Государство и общество в России. СПб., 1881. С. 424.
- 251 *Кавелин К.Д.* Злобы дня // *Он же.* Наш умственный строй. М., 1991. С. 489.
- 252 См.: *Валицкий А.* Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX начала XX веков // *Вопр. философии.* 1991. № 8. С. 29.

- 253 *Маклаков В.А.* Из прошлого // Современ. записки. Париж, 1930. № 41. С. 231.
- 254 *Новгородцев П.И.* Общий взгляд на развитие политической мысли во второй половине XIX столетия // Новый мир. 1991. № 12. С. 215.
- 255 См.: Либерализм в России. М., 1996. С. 223.
- 256 *Пирумова Н.М.* Земское либеральное движение. М., 1977. С. 3.
- 257 См.: *Аврех А.Я.* Русский буржуазный либерализм: особенности исторического развития // Вопросы истории. 1989. № 2.
- 258 *Кизеветтер А.А.* Партия народной свободы и ее идеология. М., 1917. С. 5.
- 259 См.: *Вебер М.* О буржуазной демократии // Социол. исслед. 1992. № 3.
- 260 Либерализм в России. С. 227.
- 261 *Бердяев Н.А.* Судьба России. М., 1990. С. 4.
- 262 Освобождение. 1904. № 20. С. 346.
- 263 *Новгородцев П.И.* Об общественном идеале. М., 1991. С. 514.
- 264 Там же. Сс. 516.
- 265 *Валицкий А.* Цит. соч. С. 31.
- 266 *Соловьев В.С.* Собр. соч. Т. VII. С. 509-511.
- 267 Там же. С. 382.
- 268 *Новгородцев П.И.* Идея права в философии Вл.Соловьева // *Он же.* Об общественном идеале. С. 536.
- 269 См.: Либерализм в России. С. 397.
- 270 *Новгородцев П.И.* Идея права в философии Вл. Соловьева. С. 527.
- 271 *Новгородцев П.И.* Кризис правового сознания. М., 1909. С. 387-388.
- 272 *Новгородцев П.И.* Нравственный идеализм в философии права // Проблемы идеализма. М., 1902. С. 251.
- 273 Там же.
- 274 См.: *Медушевский А.Н.* Французская революция и политическая революция русского конституционализма // Вопросы философии. 1989. № 10.
- 275 *Гессен С.И.* Проблема правового социализма // Современ. записки. Париж, 1924. Т. 22. С. 270.
- 276 *Котляревский С.А.* Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915. С. 403.
- 277 *Новгородцев П.И.* Право на достойное человеческое существование // ОНС. 1993. № 5. С. 127.
- 278 *Гессен С.И.* Проблема правового социализма. С. 271-272.
- 279 Там же. С. 279.
- 280 *Чичерин Б.Н.* Собственность и государство. Ч. I-II. М., 1882. С. 267.
- 281 *Новгородцев П.И.* Право на достойное существование. С. 128.
- 282 Там же. С. 127.
- 270

- 283 См.: *Гессен С.И.* Проблема правового социализма. С. 281-282.
- 284 Там же. С. 282.
- 285 Там же, с. 275.
- 286 Там же. С. 341.
- 287 Там же. С. 310.
- 288 Там же. С. 340.
- 289 *Котляревский С.А.* Предпосылки демократии // Опыт русского либерализма. М., 1997. С. 224.
- 290 См.: *Кистяковский Б.А.* Сущность государственной власти. Ярославль, 1999. С. 39.
- 291 *Котляревский С.А.* Предпосылки демократии. С. 231.
- 292 *Гессен С.И.* Проблема правового социализма. С. 289.
- 293 *Новгородцев П.И.* Демократия на распутье // *Он же.* Об общественном идеале. С. 548.
- 294 Там же. С. 553.
- 295 *Гессен С.И.* Проблема правового социализма. С. 291.
- 296 *Ленин В.И.* Гонители земства и аннибалы либерализма // Полн. Собр. соч. Т. 5. С. 43.
- 297 *Карпович М.М.* Два типа русского либерализма // Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997. С. 63.

Оглавление

Введение	3
I. САМОДЕРЖАВИЕ КАК МОДЕЛЬ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.	
Исходные понятия моделирования самодержавия	9
Глава 1. Московское царство и формирование образа «самодержца Всея Руси»	17
1.1. Исторические предпосылки и идеологическое конструирование модели самодержавия	17
1.2. Смута и формирование идеи Государства	24
1.3. Церковный раскол и неизбежность перемен	30
Глава 2. Конструирование модели Российской империи	35
2.1. Модернизация государства Петром Великим	35
2.2. Дворцовые перевороты и образование дворянской монархии	40
2.3. Модель просвещенной монархии	45
2.4. Эпилог просвещенного самодержавия	49
Глава 3. Абсолютная монархия. Ее альтернативные варианты	58
3.1. Конструирование абсолютного самодержавия	58
3.2. «Революция сверху» как модель либерализации монархии	66
3.3. Опыт реанимации самодержавия	76
3.4. Падение самодержавия	86
II. РУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ КАК ТИП СОЦИАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	95
Глава 1. Философские основы и особенности утопического моделирования	95
1.1. Место утопии в социальном моделировании	95
1.2. Источники и особенности русской социалистической Утопии	110
Глава 2. Русский общинный социализм — новый тип социальной утопии	124
2.1. Социалистическая утопия Герцена и Огарева	124
2.2. Экономическое обоснование социалистической утопии	141

III. ЛИБЕРАЛИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ	156
Глава 1. Социально-историческая парадигма русского классического либерализма	159
1.1. Идеиные истоки либерализма в России	159
1.2. Классический либерализм: модель Чичерина	164
Глава 2. Крестьянская реформа на пути к гражданскому обществу. Проекты и их реализация	175
2.1. Крестьянский вопрос	175
2.2. Проекты крестьянской реформы	179
2.3. Роль власти в осуществлении реформ. Власть и общественность	185
2.4. Манифест 19 февраля 1861 г. Его социально-политическое значение	195
2.5. Общая диалектика развития реформ	200
Глава 3. Новый либерализм: смена парадигмы общественного моделирования	206
3.1. Новый либерализм как идеология послереформенного времени	206
3.2. О праве как гарантии «минимума добра и нравственности»	218
Глава 4. Социальная программа нового либерализма	228
4.1. «Право-притязание» как правовая основа либеральной модели развития	228
4.2. Социально-правовой механизм гарантии равенства перед законом	233
4.3. Собственность как «самопродолжение личности в вещах»	237
4.4. От демократии политической к демократии общественной	241
Заключение	248
Именной указатель	253
Resume	258
Примечания	259

Научное издание

**Новикова Лидия Ивановна
Сиземская Ирина Николаевна**

Три модели развития России

Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН

Художник: *В.К.Кузнецов*

Технический редактор: *Н.Б.Ларионова*

Корректоры: *Ю.А.Аношина, Т.М.Романова*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 21.09.2000.

Формат 70x100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 8,7. Уч.-изд. л. 11,74. Тираж 500 экз. Заказ № 029.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: *Т.В.Прохорова*

Компьютерная верстка: *Ю.А.Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119842, Москва, Волхонка, 14